
Алексей ГРЯКАЛОВ

СТРАЖ И СОВЕТНИК

Роман-свидетель

1. СОН-ШУИМАНДЖУ

С юности привыкнув к поединкам, он больше всего не терпел удержания. Ни при свете дня, ни в ночи. Но невидимый вонзил иглу в предутрии... из недавнего посещения Поднебесной? — ясно на левом предплечье фигурка дракона. Благородство, загадочность, сила и магия — дракон воплощает великую мудрость.

А ведь никогда ничего на коже не наводил — разведки и контрразведки: отработывай искусство быть незаметным.

И некому разбудить, когда застонал.

Откуда знак? — привычкой разведчика *Президент* с первого мига пробуждения вживался в день. А сны появляются, как известно, когда их начинают рассказывать. И вслед пробуждению-ориентировке в один миг сразу преждевременно и запоздало я вторгаюсь — после настоя-шуиманджу сон подобен реке-дао, — вижу, всплыла из самой глубины вещая наколка-дракон.

Кто нападет на нас — сдохнут в аду, мы же пребудем в блаженной резиденции рая. И оттуда будем взирать на муки чужих! Но ужакой сразу вползала в сон *вышиванка*-забота, неотступная в последнее время *мова*. И сначала мыслью, потом резким подъемом рванул тело — не терпел удержания. А вслед сну-вышиванке гуд словно бы совсем недалеко летящего роя.

Перед концом света пропадут, как известно, все пчелы.

Апокалиптические видения пригнал опылявший поля небесный агроном. Летчик сезонно спешил заработать, после аварии выжил. А пчеловоды гусями крыльцами сметали с прилетных досок золотые пласти свежего подмора. И так в одном раннем утре сошлись напомнивший гибелью пчел конец света, упавший самолет и вслед одна странная находка.

Показал запущенный губернскими инженерами дрон, скользя тенью, обшаривал местность — ни оторванных колес, ни плоскостей с номерами, ни кабины. Но на краю Райского леса — старое название времени не сдалось, перевернутый самолет. Оператор будто бы даже различил гомон растревоженных пчел и запах вытекшего цветочного меда. А из черневшего на склоне провала-схрона ветер выметал обрывки пожелтевших листков. И все в полдне было придавлено и зажато, будто схватил полдневный бесок.

Президенту про падение мелкомоторного самолета даже не стали докладывать, хотя потом пришлось объяснять непонятые связи утра — морок полдневный, случайное сцепление происшествий-атомов — алеаторика, как назвал бы памятный из универси-

Алексей Алексеевич Грякалов — доктор философских наук, профессор. Заместитель директора по научной работе Института философии человека РГПУ им. А. И. Герцена. Руководитель научно-образовательного центра «Философия современности и стратегии гуманитарной экспертизы». Член Союза писателей России.

тетского курса Эпикур. Но странная близость переживаний в разных местах требовала порядка, словно молния мгновением свела в жестоком всполохе.

* * *

Не надо долго раздумывать, надо коротко видеть.

Даже в минуты любовной близости никогда не переставал смотреть на себя и происходящее словно бы со стороны. В пионерские годы *Президент* ни одной молитвы не знал, только чувствовал, что есть. И даже удержание вдохновляло — в рывке чувствовал себя между тьмой давления и свободным вдохом.

Но прошел сквозь кожу, вцепился в каждую мышцу *дракон*. И заставлял всегда быть готовым. Надо было как-то по-своему интуировать, что, как известно, означает хватать. И *Президент* иногда чувствовал, что вовлечен в почти непостижимую для ума и понимания игру дня и ночи. Не только естество, но все привычные знаки теряли простую ясность — открывались глубины шифровки, игра отрицательных понятий, противоречий и оппозиций, война реактивных сил.

Вслух соотносил себя с рабом на галерах.

Выросший на асфальте, *Президент* не имел перед глазами природной тайны. И все-таки открывалось что-то неведомое, то ли в наказание, то ли в награду. Уподоблял себя тому, кто видит все. Не мог об этом ни с кем говорить. Он словно бы подражал тому, с кем нельзя было сравниться и кто был совершенным образцом в подражании.

Тайный образ, недостижимый, с кем нельзя вступать в соперничество.

Но поверх этого тайного явно потоки переплетались — *Президент* иногда начинал думать, что справедливость невозможна. Народ соединяет всех со всеми, но народ... простой народ? Он будто бы всегда как-то отвергаем, все со всеми сливались только в те дни, когда шла война.

Да теперь, наверное, не будет и этого.

Президент даже попросил найти *Лингвиста*, чтоб дал ориентировку: *popolo, people, rieblo* — итальянские, французские, испанские слова содержали в себе смысл массы граждан как единого политического тела — родство превыше всего. Но в этих же словах присутствие низшего класса, обычного люда, тех, кому надо по мере возможностей сострадать. Эти последние будто бы исключены — брошены в голую жизнь, где всегда будут несчастья и неудачи.

Амфиболия... смешение понятий.

Лингвист доложил про неизбежную двусмысленность слова *народ*.

Разделен на уровне переживания. С одной стороны сплоченное политическое тело, а с другой исключенные, осознающие свою отрешенность. Это биополитика, говорил *Лингвист* — он не понравился *Президенту*. И только после слов, что в русском языке над всеми формами преобладает глагол, *Президент* взглянул на него с интересом.

Конечно... конечно! *Лингвист* засуетился, — язык наше убежище, скрываемся от реальности в языке. Но двусмысленность остается! А *Президент* из своей прежней службы знал, что как раз двусмысленность чревата перевербовкой. И надо бы двойственность устранить — соединить всех, чтоб чувствовали себя близкими.

Богатые создали голую жизнь бедных, но уже почти не могли их выносить.

Народ становился синонимом несчастья и неудачи. А высшие, которые окружали *Президента*, никогда бы не согласились уравнивать себя с простыми людьми и признать равенство. И надо показывать, что страдает народу, который представал как исключенный класс: *Президент* садился в кабину боевого самолета, чтоб ближе к летчикам, выходил на подводной лодке в плавание, чтоб ближе к морякам, летал в места боевых действий, так словно бы заговаривал голую жизнь.

Биополитика и биовласть! — *Лингвист* похож на говорящего болванчика. Наверно, в шизофренической головушке просто не было закоулка для человечески неизбежного сомнения.

— Конечно, конечно... — *Лингвист* словно бы расслышал. — Цинический разум.

— Собачий?

— Гораздо хуже. Собачки по следу!

Лингвист коротко выдохнул, будто мешок сбросил.

У богатых есть время, а у бедных есть только места, пока богатые до него не доберутся.

А у *Президента* в собственном утреннем времени всегда есть место.

Вот плечи расправились — жест «утка машет крыльями» наполнял упругостью, руки наливались утренней силой, колени после стойки киба-дачи вставали почти вертикально — куда направлено колено, туда пойдет удар.

И никакого ни к кому сожаления, и нет страха.

Но из давнего прошлого человечка восьмилетнего минуту назад скрутили, чтоб не думал, что неуязвим. Ради смеха в железных ручищах... трусы до колен содрали, канава под голой задницей глубиной в метр, в канаве ежак... — смеется хохол, по-вашему е-е-ежик!

На ежака... голым задом!

Болтался в чужих руках, взъярился первичный страх смерти грудновичка, когда отлучили от материнской груди. Душка скукожилась, рвалась из плена. Неназываемая тоска смерти настигла вдруг в чужом полдневном мороке-перекуре. И если бы знал слова, сказал бы, что тело совсем отделилось от души и существовало только собственным страхом — между раскоряченными ногами совсем переместился в мошонку. Оттуда верещал зайцем-подранком, которого настигал гончак.

Отпустили — руки дернули черные сатиновые трусы к животу.

Натянул на голый зад, руки дрожат. Обидчики ушли, посмеиваясь, за угол к своей работе. Будто бы что-то нужное сделали, содрали трусы... голым задом на ежика, чтоб не думал, что не может так быть. Все может быть: сжали в лапах, лишили движения — дыхание табачное чувствовал на своих щеках.

Теперь подкрасться, молоко в котомках, яйца крутые, тряпочка с солью, молоко в зеленых бутылках.

Струю задрал кверху, сразу быстрый скок на дерево... начнут пилить?

Обоссать барахло, пусть понюхают!

Ненавидел удержание — никогда, никогда, никогда не терпеть. А гадкий липкий кошмар наколкой-драконом потом будет приходиться в сон.

Где теперь в засаду попавший ежик? — колючий свидетель.

* * *

И снова вслед в сон-шуиманджу.

Боевые слоны больше всего боялись визга свиней, которым подпалили щетинку.

В глаза мне смотреть, в глаза! Точкой бьет модный среди гаванской шпаны прежних питерских окраин трофейный фонарик-даймон — апофатическая *сверхсветлая тьма*.

А передо мной тьма белой страницы. И настоящий *Советник* только тот, кто может предугадать характер будущей войны... боль от иглы-тату никогда не притупится. Попал непонятно кем завербованный провокатор-дракон в сон-шуиманджу. Кто мной-иглой вонзился поставить тавро на плече *Президента*? И невидимо ни для кого за собой наблюдаю — даже своей тени у меня нет (только нечистая сила, лучшая в мире раз-

ведка, тень не отбросит). А со свидетелем всегда одинаково — в конце концов почти-хому уберут.

Но я свидетель почти несуществующий — не так просто группе захвата меня уловить. И взгляд из строки хоть не безопасен, но все-таки, надеюсь, не смертелен.

А в сон-шуиманджу *Президента* из моего собственного давнего страха уж заслан двойник-домовой — топтун из наружного наблюдения. Своя служба-босота — душа почти повсеместно в бессрочной службе, хтоник вымирающий-мстящий в одном лохматом явлении. В брехеньке дядьки-хохла домовой вышиванку на груди мохнатой расстегивает до наглого толстого, не существующего у нечистой силы пупа! Каждую ночь приходит и давит. До смерти не в его власти, но в большой-большой силе.

И решил хохол лохматого подстеречь. Каждую ночь... настырный, видно, москалик! Ему бы с нашими молодницами-ведьмами — кто не скачет, тот москаль! А он к казачу поперся! Я серники в левую, хохол выставил руку, в правую самодельный из трофейной австрийской косы ножик. Покупным лезвием такого черта не взять! Себя самого как бы по мошонке не чиркнуть. Так он сразу коленями скочил мне на руки! Ноги своими мохнатыми придавил. Не двинусь! Знаю, дохнет теплым к добру, а холодным — бо-ольшоой майдан! А тут под Велик день как раз кума в гости! Я ее на кровать, сам на лежанку. Ложись-ложись, куманюшка дорогая! И уж под самое утро он шлеп-шлеп мимо меня, дух чертячий! Да на нее! А она под ним: о-хо-хо! Ох-хо-хо! А я с печи: «Что, ошибся?» Полезет, думаю, ко мне — в грудицу дам еко-гери! У нас в Горловке был клуб сан-до-рю! Дзюдо, карате и айкидо! Я две зимы посещал! Не полез ко мне, побоялся, к двери пошлепал! А я вслед из левого ствола холостым! Бездымным порохом! А во втором стволе бекасин, да задницу лохматую пожалел.

Скакнул он, дверью со зла grimнул!

Кума с перепугу ногами сучит, не угомонится!

Освежилась мокрая!

Утром гость-хохол подхихикнул как-то бесовски, будто только из-под топтуна-домового. Даже хотелось глянуть — не торчит из прорези на камуфло-штанах сзади вертлявый хвостик?

Хвоста не было, но топтун из чужого сна вдруг внедрился в существование. И еще стакнулся со страхом-позором, когда трусы содрали — голым задом на ежака. (Можно, теперь думаю, было бы назвать легким психозом.) Из побрехеньки каждую ночь домовой шлеп-шлеп от двери! Только смежил глаза, топтун душит, удержанием по-на-товски, по-американски, по-бандеровски тупо давит.

А морду ни разу не показал.

Безвременно из сна в сон домовой-топтун бродит.

Президент, как и раньше, больше всего на свете не терпит удержания.

Ни в объятиях, ни во власти.

2. ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ПОКЛОНОВ, или СМЕРТНЫЙ КАГОР

Теперь все жертвенно почитаемое будто бы пропало.

Время промахивало сквозь настоящее, в нем уже почти не осталось прежних хранителей. И еще не было новых свидетелей, словно бы не о чем свидетельствовать. Даже сказочные потенции скукожились, одряхлевший царевич в активном поиске не внял призыву лягушечки со стрелой.

Юная супруга уже без надобности, а вот блогерушка-лягушка!

И если чуда не ждать, оно не придет.

Неожиданно в нарушение отшельнического существования редактор издательства предложил написать книгу. Почти без опасений я согласился, ведь боящийся в любви несовершен.

И заказанная книга о Василии Васильевиче Розанове выросла в местах между Пушкиным и Набоковым – деревней Выра, где трактир «У Самсона Вырина» уже стал рестораном с самоваром и русской печкой, и поселением Рождествено – на высоком берегу у слияния Грязны и Оредежа белый особняк, подаренный юному Набокову перед первой большой войной. По своим годам Набоков мог бы участвовать в Гражданской войне... брел бы донскими степями, обмерзлый башлык на голове.

А главная тема человека, о котором надо было написать, это российская *немошь* и о том, как ее превозмочь. И тут непонятно для чего вспомнил, что при окончании университета был приглашен в кабинет, где лицо вежливого собеседника было совсем скрыто.

Я тогда отказался, думал – навсегда. Но время от времени получал какие-то странные знаки, будто на что-то намеки, окликанья, чтоб не забыл?

Кому и зачем нужен?

И стал что-то понимать только через много лет в пыльном городе Калайчи.

Хотел после казенных встреч увидеть в древней пещере церковь, где по стенам красным выведены кораблики – приплыли в степь из святых мест катакомбных. В пещере за углом направо от входа округлый алтарик. А если луч фонаря вниз, мгновенно блестящая из глубины колодца водица покажет белый свод и склоненное личико – правдивое зеркальце.

Но любивший выпить и закусить сопровождавший меня референт повез отобедать в столовую на местную скотобойню. Как раз в перерыв – в зной бригада бойщиков и приемщик с церковным именем Вениамин жарко закусывали, за изгородью зеленела и желтела вольная степь окраины – вдыхая близость крови, скотина тосковала в предчувствии смерти. И посреди поглощения животной рванины на сковородке я в разговоре накатила на бойщиков по восемь тонн взрывчатки в пересчете на тротилловый эквивалент. Почти со злорадством – на вытоптанном базу ничего, кроме зла, будто бы вовсе не существовало, все четыре бойщика стали жевать медленней.

Только приемщик Вениамин улыбался: давай, давай, впадай в камлание, развлекай!

Да ведь животное не умирает, животное околеваает – Хайдеггера читал? Кипела в безводье жары кровца – души животные, согласно Аристотелю, могут предчувствовать смерть.

– Смотри, ведет? – вдруг поднял руку Вениамин.

– Ведет, ведет! – вскинулись бойщики.

Со стороны вокзала на заклятие вел пыльную массу козел, потряхивал бородой, совсем не напоминал сказку – за ним одуревший от жары, пыли и предчувствий овечий народец. Рядом с оградой стоял молодой парень с веревкой в руках – только что введенное с весов животное кинулось к принесенному вихрем клочку зеленой афиши. Веревка на изгороди повисла дохлой гадюкой. И в последнем вожделинии, смешивая пол и природу, белая в рыжеватых пятнах корова по-бычьей взгромоздилась на стоящую рядом телку – вздрагивало в неутолимой предсмертной страсти коровье вымя, напряглись коричневые у коровы и розовые у телки соски.

Мы отъехали – чужой обед, жара и запах крови.

– Всегда подчиняются!

– Кто?

– Подчинятся, пока есть тот, кто ведет. У него даже попонка... в два ряда военные пуговицы!

– Советские?
– Итальянские, немецкие. Следопыты копают, тут на всех козлов пуговиц хватит! Ищут артефакты войны. С мундира у козла срезать хотели, да Вениамин не дал. А сельскому животному... водству, – странно разбил слово, – совсем кердык. Вослед партии нашей.

– Не боишься?

– Дальше бойни не пошлют... падать некуда.

Пьянка и супружеская неверность выбросили его из губернского города, отслеживает уездный городок Калач в качестве референта.

– А ты слушай сюда! – как-то в сторону сказал референт. – Давно в системе?

– Сам не знаю... – Хотя, наверно, все-таки знал.

– Недавно схрон тут нашли с военных времен. Слышал?

– А как нашли?

– Был тут... бродяга так, не бродяга. *Партизан!* Будто бы родники сохранял, данные на него нашли. Бандеровцы эти места под себя готовили. Слобожанщину поднять, войну после войны ждали. Мы Крым вернули, они хотят Слобожанщину. Войну перекинуть! Донбасс воюет. Батальоны укропов почти за углом! – Он кивнул в сторону заката, чуть южнее и дальше начиналась граница. – Ты его знал? – *Референт* будто допрашивал.

– Родники показывал, я крест помогал укрепить. Святое место, говорил, родник от жажды спасает!

– А крестов было сколько?

– Мне показал один.

И что хотел тогда сказать отставной профессионал, только совсем недавно я стал понимать. Он словно что-то знал про меня. И все те, что будто совсем случайно показывались раньше, тоже к чему-то меня готовили.

Крест направлен на место схрона.

– Так ты его знал?

– Церкву, говорил, выстроить не могу, родничок спасу.

– Сочувствую... – *Референт* еще раз искоса посмотрел. – Сейчас криминалиста в отделе подхватим, и туда.

Я не сказал, что зимой послал брату Борису деньги, чтоб покупал кагор *Хранителю* родников, тот отмечал церковные праздники: Рождество, Крещение, Пасху. Доживал в доме престарелых, из красного кирпича вечная постройка земской школы. Смерти доглядал, как говорил на своем странном наречии, один среди восемнадцати бабок, впадавших каждая по-своему в приблизившееся девчачье детство.

А в похмелье после кагора старик начинал странно повествовать про тайный схрон, где может быть золото! Семьдесят лет, мол, служил преданно – теперь свободен.

Болтал с пьяных глаз.

– Давно его не стало? – Мы ехали с *Референтом* вдвоем по безлюдной дороге. Только пыль позади, куда-то стремящийся поток саранчи бил в лобовое стекло.

– Пасечник через день ходил, в прошлый раз не было. Думаешь, тут все тихо? Только один козел-Власов?

– Родники берег.

– Весной в схрон провалился, в больницу отвезли, после укола странное стал говорить. Родник... крест, ориентир!

– Крест всегда на восток.

Я вспомнил, что *Партизан* говорил, что водица еще потребуется! Еще война будет! Потом он уходил куда-то далеко: за Потудань, за Северский Донец, на Маньч, до самых днепровских порогов, где была Сечь. А теперь там бетонная плотина, говорил,

и пивные ларьки. Будто бы ждал какую-то вечно справедливую войну-чуму — партизаны никогда не переведутся. И меня звал: пойдём — вольная воля. Не любил ни Сталина, ни Хрущева, ни Брежнева.

А на всех остальных только рукой махал.

И всегда крест выставлял строго в одном направлении

К нему приезжали совсем недавно двое, *Референт* все знал. Брат Борис как раз в тот день нес *Партизану* бутылку кагора и дыню. Стал смотреть на чужую машину.

Тут все знали друг друга.

— Откуда и куда?

— Цэ украиньски номера.

— А тут що поробляешь? — хотел по-свойски подладить брат. Его отца-лесника через два года после войны в киевских лесах повесили бандеровцы.

— Оно тобі надо?

— Надо! — взъярился брат, бывший секретарь комсомола.

— Нэ твое собаче дило! — вдруг дико ответил приезжий.

Брат острейшей шваикой хотел шамануть насквозь в переднее колесо. А бывшего хранителя родников еще один приезжий как раз сводил со ступенек.

Все трое сели в машину. Брат остался... швайка проткнула карман, кольнула ребро.

Машину потом вроде бы видел кто-то возле леса.

— Тут скифский курган раскопали — шурф пробили метров двенадцать. Шастают... роются. А у *Партизана* ордена думали выманить. Если и были, цыгане давно все выманили. Деда этого.... *Партизана* искали! Медаль никогда не снимал. Тут операция задумывалась. Знаешь? — *Референт* струю дыма пустил в метавшуюся по лобовому стеклу осу.

— Когда?

— Сразу после войны.

— «Бджола»! — Я вспомнил.

— Бчела... бжелла! — Он не мог повторить ломкие звуки *мовы*. — Пчелка бандеровская! Видимо, приехали узнать, где схрон. Думали, там остались запасы. Деньги старые, ордена. Оружие, может, для начала. Луганск отсюда напрямую двести километров. А когда приехали, дед не показал схроны. Так... версия.

Через ветхий мост мимо брошенных домов.

Дорога в мельчайшей меловой пыли.

И в конце уже был виден край пасеки, вдруг промоиной подброшенный почти к облаку и сразу упавшей в скошенную поляну. Мед из разорванных рамок вытек на траву, пчелы-воровки кидались на дармовой взяток. Тот, кто лежал прямо на траве перед ульем, пострадал от пчел, но уже не страдал вместе с ними. Пчелы-печальницы... верные плакальщицы. Не боялся ни черной лесной гадюки, ни крестовика-паука, ни мотылька, что мог заползти в ухо до самого мозга. Капюшон на глазах — я узнал *Хранителя родника*, хотя не видел ни лица, ни коричневых рук. Он говорил *башлык* — натянут на голову, странно похож на никогда не виденного мной монаха в миру.

Башлык на голову, когда везли?

На горлянку матузок, веревку по-украински так звал. Полузадушенного на улей раскрытый кинули. Хотели, чтоб подумали, что грабил пасеку? Опрокинутый улей-лежака, шевелилась смертно-белая детва, придавленная матка лежала посреди своих, десяток трутней ползал по перевернутой прилетной доске. Есть пчелы-воровки, есть пчелы-убийцы. И есть зло оглашенные, когда дурной пчеловод гусиным крыльцем побрызгал самогоном на рамки — кинутся на соседние улья. А *Партизан* посреди пчел-свидетелей, худой с жесткими плечами костяк всегда раньше был скрыт чьим-то с ши-

роченных плеч френчем. Теперь по открытому телу ползали, подволакивая жала, полумертвые пчелы. На правой стороне вырван клочок ткани — сорвали медальку. На ней, помню, были выставленные в ряд штыки солдат в касках, на лицевой стороне так стерся профиль, что было почти не узнать, кто именно изображен.

А тех двоих, что привезли сюда *Хранителя* родников, самих забрали к вечеру того же дня. Увидев, что выносят сундучок с манатками, как раз никого из медесестер на месте не было, брат Борис зашамарил стальной швайкой в оба колеса с правого бока.

В схроне нашли какие-то старые газеты и длинные бумажные деньги давних времен. И хоть налицо вешдоки, ни в какую конспирологию верить не собираюсь. Предпочтесть демокритовскую первопричину персидскому престолу? — сегодня первопричин нет, доморошенная конспирология давно проросла случайными всходами на огрехах.

Но хорошая история идет, как известно, сразу в две стороны.

3. ВЕРБОВКА БЕЗ ВИДИМОЙ ЦЕЛИ

Неудачно я ответил, когда наместник президентской рати на берегах Невы окликнул из конца коридора.

— Вступай в партию!

— А в какую?

Главный на невских берегах *единоросс* понял, что я не созрел для главного дела. У него уже не спросишь. Но он будто поучаствовал в странной игре — держать меня вблизи неведомого мне замысла.

И продолжали к чему-то почти незаметно, но неотступно вести, будто готовили для, наверное, последнего для меня исполнения.

Какими словами можно окоротить и ослабить силу? Даже силу могучего *Президента*? Неужели словами из книги о Розанове?

А он у меня на страницах снова по-детски пил молоко от вымистой кормилицы коровы, курил в полнейший кейф от первых классов до самой старости, рассуждал про тайну миквы и заброшенно по-стариковски переживал голод и гражданские распри в Сергиевом Посаде. И потом диктовал дочке строки, поглядывая на свечечку: «Пока горит, Таня, еще на рублик напишем». Упал в канаву, когда возвращался из любимой им бани.

Секрет в вечной и неумолчной музыке в душе: звучит, а кто знает? — меньше всего автор.

И вдруг тот, кто окликнул: «Вступай в партию!», позвал для разговора.

Я впервые видел вблизи настоящего *сенатора*.

— Знаешь, кто такой бэбиситор? — Он говорил мне *ты*, когда были вдвоем.

— Тот, кто сидит с детишками?

— Посидеть хочешь?

— И так сию. Выпечка текста!

— Какого теста?

— Текста!

— За булку о Розанове дали тысяч двенадцать? Два года работы?

— И двадцать лет перед этим.

Да Розанов сам говорил: что за фамилья такая! Ни поэту, ни философу не подойдет! Вот для названия булочной хороша: дурак ты, Розанов. Ты б лучше булки пек!

Сенатор многое обо мне знал.

— Что о человеке говорят?

— О каком?

— Вообще... о человеке!

– Вслед за смертью Бога наступает смерть его убийцы. *Человек* умер! Стал точкой пересечения силовых линий! Исчерпал ренессансный запас! Гуманизм... ограничение! Толерантность? – сплошной дом терпимости. Остались одни терпилы! Исчез человек, как след на прибрежном песке! А теперь сверхвера... у каждого своя.

Но Бог умереть не может, хотя вера смертно хиреет.

– Слушай сюда! – Он иногда впадал в родное херсонское интонирование. – У меня Горный Алтай за плечами! Охотники постреливают, духов зовут!

– Я только сказал, что все знают. И почему меня?

– Я в Сенате сижу, губернаторы бывшие, генералы. Знаешь, что он мне сказал?

– Кто?

– *Президент!* Скурвились почти все! Остались только философы! Я недавно *Президенту* книгу Эрнста Юнгера подарил. Ему нужен человек для разговора.

– А я при чем?

– Теперь его заинтересовал Розанов! Ты книгу закончил. Хорошо продается?

– Говорят, хорошо.

– О Деве и Единороге тоже ты написал?

– Это совсем давно.

– Да я знаю даже то, что ты в Красноярске в бане болтал! Там рядом у пристани пароходик, на котором вождь из Шушенского приплыл? Сторож по десять рублей брал с парочек, пускал в тепло?

– По пятнадцать в морозы.

– Короче, расскажешь о Розанове. Четыре-пять встреч! Зарплата сразу пойдет!

– Все пошло, что пошло. – Я скрылся за строчку.

Хохлушки и молдаванки по всему свету сидят за деньги с богатыми карапузами, почему бы мне не посидеть четыре-пять раз с самым главным при власти? Хайдеггер написал, что для нации важна абсолютная идея *вождя*. Даже у прислужника из Туркестанского легиона в войну было звание *цугфюрер* – вождь повозки.

А мне теперь даже терять нечего. Впереди только пустые страницы.

Берега Оредежа, куда вливается заросшая осокой чумичка Грязна, схвачены красным дивонским камнем – Набоков всю жизнь вспоминал словно бы опаленный подземным огневищем берег. А в глубине леса в конце разбитой дороги стоит старинная усыпальница, построенная героем войны с французами Витгенштейном для горячо любимой при жизни и после смерти жены. Теперь от имения только старые корпуса – в одном *психиатричка*, в другом – *туберкулезка*, врачи после смены выходят угрюмые и усталые под темные ели – никогда никому из случайных встречных не взглянут в глаза.

В те депрессивные места не надо часто ходить – насельники не по своей воле, и страдание заразно.

Наезжают элегантные европейские набоковеды – кто такая нимфетка Лолита? Просто недостижимое, литература, которую никогда нельзя навсегда при себе оставить. С таким же успехом, как про Лолиту, Набоков мог бы написать про трехколесный велосипед – приводит слова Набокова ветеринар по образованию, писатель Ален Роб-Грийе, с которым захотел встретиться в Париже уже знаменитый автор: «Мы оба любим маленьких девочек».

И понимающе рассмеялись.

Почти ницшеански: убивают не оружием, убивают смехом.

Опустив колун на обух, вытирает пот со лба Розанов: смехом никого нельзя убить. Смехом можно только придавить. И терпение одолеет всякий смех. А Оредеж течет легко и быстро, Серафим, почитаемый православными, навсегда в этих местах, в войну прямо сказал немецкому офицеру:

«Убирайтесь, уходите, пока живые!»

С аэродрома в Сиверской немецкие самолеты летали бомбить Ленинград.

У Розанова в доме была печка — топили в дождливые дни. А у меня в деревянном доме камин — металлическое существо на кирпичной основе: если вымыть стекло от копоти, видна чудесная игра огня осиновых и ольховых поленьев.

Два раза отсюда вызывали на офицерские сборы в *Большой дом* в начале Литейного, тогда еще говорили, что это самое высокое здание в Ленинграде — из подвалов Соловки видно. Встречал бывших университетских товарищей — один уже ждал на погоны генеральские звезды.

Кино показал антисоветское, кадры без единого слова. Сперва купола и кресты на храмах — Москва благородная, голуби белые на прекрасной площади —

Мы не голуби, мы не белые,
А мы ангелы-хранители... —

через минуту буйствующие в очередях приезжие: дают в конце летнего месяца детские беличьи шубки. Номера на запястьях, кто-то упал, руку тянет, очередь бьется телами — буйствующая плоть. И снова наплывают купола благородного разлива — на православных храмах купола-чаши вбирают в себя силу небесной тверди. И так раз за разом, чтоб каждому стало понятно.

Что было — что стало.

Антисоветчину будут гнать, а мы терпеть и молчать? — через год *Сокурсник* стал генералом и любимцем *Председателя*.

— Согласен? — *Сенатор* подождал.

— Не сума-тюрьма... кутерьма!

И уже через десять дней кортеж по Кутузовскому проспекту.

— Что Розанов любил? — спросил *Президент*.

— Перебирал монеты! Единственное действие, где остались порядок и память. Еще игра на бильярде, катятся шары одинаково хоть ночью, хоть днем!

— Um halb zehn Uhr? «Бильярд в половине десятого»... Отец пол-Европы построил, а сын пол-Европы взорвал? Генрих Бёльль?

Президент был начитан лучше, чем я думал.

— А как жил? — *Президент* не забывал про свои вопросы.

— За занавесочкой да с молитовкой! Мол, не радуйтесь, попики! Слова мои не против Христа! Надо молодым три первых ночки дать во флигельке да рядом с храмом! Любовь чтоб при свечечках! Не могу, говорил, жить в стране, где нет больше царевен.

— При свечах? — *Президент* не терпел непонятного.

— Левиафан дикое укрощает силой! А Розанов любовью!

— Я помню, как ждал письма, — вдруг сказал он.

— Я и сейчас жду.

— Чего именно?

— Не знаю...

Он жестко смотрел на меня.

А говорить, знает любой доцент, можно двумя способами: открывать *файлы* или открывать *шлюзы*. Но шлюзы не открывались под жестким взглядом.

И надо сейчас посметь улыбнуться.

— Розанов говорил о письме! Придумал Кадм, сын финикийского царя. Трудное дело! — Туго раздвигались створы первого шлюза. — Требовалось внимательное наблюдение за движениями языка, неба, губ и дыхания. Чтоб каждой букве найти звук. Простая *наружка!* — хотел я сказать, не сказал. — Но главное — дать имена. Создать, ведь

их нет в природе. Без речи нет памяти! — Томас Гоббс из открытой папки левиафана моими словами. — Без способности речи не было бы государства, не было бы договоров, не было бы мира. Была бы сплошная война! Похожи люди на львов, медведей и волков.

— А на драконов?

— Не знаю.

— У меня скоро поездка в Китай. Со мной поедешь?

— К драконам?

Президент не любит, когда спрашивают.

И надо мне продолжить.

Первым творцом речи был Бог, который научил Адама, как поименовать тварей. Адаму надо прибавлять имена, чтоб использовать созданных! Соединять имена, чтоб быть понятным. И со временем столько слов накопилось, сколько нужно было Адаму. Хотя и не столько, сколько необходимо оратору или философу. В самом деле: из Священного Писания нельзя вывести прямо или косвенно, что Адам знал названия всех фигур, чисел, мер, цветов, звуков и представлений. Еще меньше оснований считать, что он знал слова *общее, утвердительное, отрицательное, желательное бытие, сущность, неопределенность* и другие ничего не выражающие слова схоластов. Но весь язык, приобретенный и обогащенный Адамом и его потомством, был снова утрачен, когда строили Вавилонскую башню, Бог наказал каждого за мятеж забвением прежнего языка.

— А Советский Союз?

— Простите?

— Вавилонская башня?

Гоббс из открытого шлюза ничего не знал про новую общность. И ничего не знал про *соборность, силу, террор*. А слишком доверяющие книгам люди проводят время в порхании, не обращаясь к истокам.

— А в чем исток? — *Президент* прерывал на самом, казалось бы, ясном месте.

— Жизнь бесконечна... человек конечен. Исток философии, исток музыки

— А что дает любовь?

— Любовь дает бессмертие! — Открылась папка с диалогом Платона «Пир».

— Бессмертие? А после демократии всегда приходит *Тиран*? — *Президент* знал диалог. — Ад есть?

— Каждый носит его в себе.

— Жить без любви можно?

— Безлюбивый ад!

— И что такое любовь?

— То, наверное, чего больше нет.

И любовь, о которой сказал, перемежая папки и шлюзы, осталась в строчках, иногда на целых страницах, но уже почти никогда во всей книге. Только голый в пупырешках от ветра живот чудесной женщины, будто став органом без тела, мелкими шажками пробегал по Конногвардейскому бульвару, чтоб занять свое место на выставке в Манеже. Эта всепроникающая неопределенность повсюду вползала, как новый страх-террор, в это забвение истока ныряли тысячи странных непредсказуемых и буйствующих человеческих персонажей. Они верили оторвавшимся от истоков словам — этих людей, говорил Гоббс, можно уподобить птицам, влетевшим через дымовую трубу и видящим себя запертыми в комнате; они порхают, привлекаемые обманчивым светом оконного стекла, не хватает ума сообразить, каким путем они влетели.

А мы сейчас по свободному от всех прочих машин проспекту — бронированный дизель глухо ревел движком в шестьсот лошадей.

Кто доверяет словам?
Машины впереди нас остановились.
Президент будет в своих делах.
А меня отвезут в библиотеку Думы.
Мой телефон звякнул.
— В следующий раз выключайте! — сказал мне человек из охраны.
— Слушаюсь!
В машине, когда везли в библиотеку, взглянул на телефон.
Пришли хорошие деньги.
У кого совсем-совсем вдруг не станет, обращайтесь по очереди — у меня личный кремлевский гонорар.
Можно даже не возвращать.
Я много, по-московски, не дам.

4. ВОТ СОЛНЦЕ

Жизнь существа определяют три силы: *пища, враги и паразиты*.
И не прав академик Шмальгаузен только в отношении к людям — человек определяет себя в потенции — единственное существо, чья жизнь болезненно и неуязвимо привязана к счастью. Но счастье неопределимо — приблизиться можно только апофатически.
Счастье — это когда нет несчастья.
Даже в *натюрморте* мертвые вещи заново оживут. Нужно остаться при самом простом факте, сказал же средний брат Карамазов, что ничего не понимает и понимать не желает. Ведь если бы захотел понимать, тотчас бы изменил факту, а он хотел оставаться при факте.
Бормотание мое не удивляло девушку из библиотеки. Только в старых библиотекаршах есть тихое внимание и мудрость. А тут ясная молодая особа, в читальном зале с утра я был один.
Она принесла кофе.
— Вам без сахара? *Dolce vita*?
— Греет собственный ворот.
Уже за шиворот взяли.
Скажу при встрече *Президенту* слова про жизнь, что написал академик Шмальгаузен. Пища, враги, паразиты и счастье.
О чем он в следующий раз спросит? Все стараются угадать слова царя.
И могу понять его только через себя. Понять, куда он потенциально растет, но ему самому ни слова. Если бы он был равен только себе, невозможно было бы даже то сообщество, которое его окружает. Без подданных царь никому ничего не способен сообщать, не мог бы даже безлично приказывать.
Множество окружает *Президента*, в нем могу насмерть пропасть.
А что мне *Президент* может сделать? Первый гонорар я уже получил.
Смерти я теперь не боюсь, только не хочется в боль. И не повторять же слова, что не надо бояться того, с чем никогда нет встречи: пока человек жив, смерти нет. А когда придет смерть, человека уже не будет. И не потому не боюсь, что думаю встретить там тех, кого любил больше всех на свете. Они меня не покидают и здесь. Жаль тех, кто останется, жалко слез — их жизнь станет печальней.
Но вот совсем не к словам вспомнились все случаи, когда за мной кто-то будто следил и присматривал, даже вел каким-то неведомым мне замыслом. Будто для чего-то готовил и выжидал момента, чтоб спустить с поводка. Хороший гончий пес до старости остается в охоте.

И не могу уклониться.

Сейчас передо мной документы о постмодернистском терроре, где взрывают существование. Особенно опасен виртуальный террор.

Каков прогноз?

Террористами могут стать обыкновеннейшие простейшие люди, почти неразумные инфузории. Часто вовсе утратившие пол, существа без своей воли, хотя будто бы только своей волей живут. Растерявшиеся, стремящиеся стать известными хоть на миг. Первых изгнали из рая в жизнь, а этих из жизни на экран-монитор.

Не становись хулиганом! О, не становись хулиганом, миленький! — из прежней жизни зывает Розанов. Да кто его теперь слушает?

И самый новейший террор: надо сперва лишить силы, смертно огорчить, опечалить, ввести в уныние. Сделать бессильным — вот самый эффективный террористический жест. Общество спектакля в отечественных изводах — только визг свиней с подожженной щетиной мог обратить в бегство боевых слонов. Теперь ни свиней, ни боев на слонах — силу набрали зрелища.

Можно узреть невидимого, что скрыт тенью — кто меня послал, чтоб я заказанно завизжал? Я тот, кого *Домовой* придавил? Ах, черт возьми, черт возьми! — Розанов редко поминал нечистую силу, но тут махнул.

Президент — актер лучший из лучших? И кто невидимый кукловод?

Юная библиотечка странно смотрит.

Но если одна нагая прошла по Конногвардейскому бульвару в наряде из рисунков на животе, почему бы в наряде из чужих слов не пройти голым по библиотеке? Убрать, устранить человека власти, заактерить, по-свински визгом довести до страха, до паники, до смятения и поражения.

Кого я предназначен сыграть?

Актер, можно сказать, скрытая опасность в каждом. И создано актерство нарочно, чтобы *предупредить*. Актер представляет контур возможного в человеке: актер не индивидуализирован. Чего доброго, предупреждал Розанов, рукоплескать станут, когда гроб выносят. Потенция, потенция! В какую игру с моей помощью кто-то хочет вовлечь *Президента*? И зачем в его вселенские игры втягивают с чужих строчек меня?

Я открыл заранее приготовленные слова для разговора.

Западничество — горькое начало русской истории.

Опасно немцам сблизиться с русскими, ведь русская утробушка немедленно переваривает их и обращает в русскую кровь, в русское мясо, в русскую душу.

Внешнее — политическое, а внутреннее — религиозное.

Нравственная правда или национальный эрос: опыт войны.

Ружья и моральный закон.

Логика мысли и жизни — вообще удел немногих.

Нумизматика есть немножко древнее жертвоприношение — последнее оставшееся нам.

Мессианизм — опасен.

Мы довели историю свою до мглы, до ночи. Но — перелом. К свету, к рассвету! К великим утверждениям. К великим «да» в истории, на мест целый век господствующим «нет».

Звезды не пожалеют — мать пожалеет.

Солнце в окна библиотеки светило совсем по-осеннему — в Москве всегда ярче, чем в Петербурге. Библиотечка поглядывала на телефон, скоро время свиданий. А мне на свидание не с кем.

Как иметь дело с тем, что стремительно пролетит? Что скажу, когда *Президент* смотрит в лицо? Нет силы для разговора, а слова без силы немного значат. И Розанов с неутешающим усмирением: тайное сознание, что нет того, ради чего стоит жить, заставит людей по одному, не высказываясь, покидать жизнь.

Вот откуда рекруты-террористы, что сами себя призывают.

Новая форма террора? — не самолеты, не машины, не специально обученные существа. Неисчислимы террористы — это существа, что отчаялись жить. И среди них персонажи, что не видят ни в чем смысла.

Неискоренимые голой жизни несчастные отчаюги.

А Розанов приближался почти к камланию: отчаяние уже глухо чувствуется в живущих поколениях, хотя его источник ясно не осознается. То, что чувствуют и что делают теперь единичные люди — говорю об отчаянии и смерти, — то со временем могут почувствовать поколения и народы.

Московский ветер рванулся в окна, стали проветривать зал.

Удивительно Розанов вывел, что в то время как в Ветхом Завете был Иов, в христианском мире не появлялся такой бунтарь веры никогда, были одни прохвосты. Каким-то образом были только люди вовсе не верующие, были люди в высшей степени недостойные, а потому отрицающие Христа.

Но чтоб человек с достоинством, не вольтерианец, не атеист либеральный отрицал Христа, чтобы он, так сказать, жаловался Христу на Христа, как Иов — Богу на Бога, то этого никогда не было. И как-то это странным образом — невообразимо.

Боже, отчего? Одна из тайн мира и христианской истории.

Но где эта история? И что скажу *Президенту* при встрече? Для чего позвали и за что платят? Я лишь простой и отдаленный от тайн власти персонаж строки. И неужели и сегодня русская история еще почти не начиналась? И литература вся празднословие, почти вся.

Предупреждал Розанов: кто будет хвалить, высну длань из гроба и дам по щеке. Вся русская философия — философия выпоротого человека? Но есть же русская стихия — беспорывная природа Восточно-Европейской равнины. Вдох... Бог не может не отозваться на вдох. Произносится имя Бога, да только неизвестно когда.

Не видать ни зги — ни свечки, ни кочерги.

Розанов полагал себя выше людей, которые окружают. Он, если рядом никого не оказывалось, определял на роль двойника самого себя. Вроде не подражал никому, да ведь в мире, где есть откровение, всегда уже только подражание. И прежде всего, когда с ужасом отвергает всякую мысль о подражании.

А *Президент* кому подражает?

Розанов подтянул времена к точке-свечечке. Стремление прехождения: прошлого уже нет, а будущее не наступило. И нужно особое всматриванье... вслушиванье, обоняние-нюх. Сводить к свечечке все времена.

Но *Президенту* мои слова полуказанные, конечно, известны.

Как примирить *великороссов* и *малороссов*? — тут как тут Розанов. Только пониманием, терпением и любовью. Нужно друг друга беречь, нужно беречь не только деловым образом, но мысленно, не заподозривать, не приписывать худых мотивов и худых поползновений. Вопрос размежевания составляющих России народностей должен идти эпически и спокойно, а не лирически, страстно и с порывом.

Майдан быстро вспыхнул и прогорел, но долго чадит.

Снарядов и мин много осталось от советских запасов, да еще коллеги-прибалты в костер подкинут. И поляки, и даже братишки-болгары.

Если в наступающей эре государственных и этнографических отношений содержится какое-нибудь живительное зерно, какой-нибудь новый напиток, то не в *вере* ли заключается? Розанов взывал к странному, теперь почти невозможному пониманию, но *Президент* выслушал.

Какой мыслью можно остановить войну? И Розанов бы хорошим советчиком был у Жириновского и у коммунистов.

Как быть?

Вслед зверобойству пришло человекобойство — Розанов хотел окоротить скорости. Ведь роднят только *пол* и *кровность*. Но и разделяют страшные столкновения на почве *расы, нации, крови и веры*. И человеческое более всего предстает на пределе, где страшно приближена апокалиптичность. Розанов возвращает мысль к переживанию жизни — так скажу *Президенту*.

Где больше всего энергия? — в сфере *пола*.

Все дело в силе, без которой нет жизни. И ориентировка — *экфразис*, только вместо описания картины художника представлена картина поиска и погони. Почему в России так хорошо могли описать человека? — фотографией не было, а спецслужбы всегда.

Тут микроскоп, тут же и телескоп.

Запущенность, запущенность — Розанов на подмогу, — заброшенность человеческого сада, сокрушался, что ни о ягодке не говорят, ни о борозде. Как будто Россия не была никогда садовой и земледельческой страной — будто даже расположена не на почве, а висела в воздухе. А что крестьянину до обедни, когда у него на огороде чертополох растет? Выродившийся сад, нужен инстинкт садоводства, нужны наставники, нужен университет садоводства, которым воспользовалось бы государство. Так было бы, если бы имело у себя когда-нибудь Конфуция или Лао-цзы в наставниках. Но имело, увы, только *мистического* философа Сковороду.

И это *Президент* знает.

Что не дает свершаться утверждению? — отсутствие героического человека. Не скажу *Президенту*, может, он думает, что он герой. А смертельная болезнь европейская *нигилизм* поражает всех. *Президент* в юности любил фильм о героях спецслужб? Возненавидел навсегда удержание.

Значит, надо создать воображаемый мир — для этого меня выманили из уединения между диковатым названием Выра и просветленным Рождествоно? Не думает же *Президент*, что часть его ноши я смогу взвалить на свой нажитый в библиотеках горб?

Внимательно, внимательно! — скажу *Президенту*. Начинается любовно, кончается смертно. Изменения же могут быть совершенно непредсказуемы, даже неуловимы. О чем подумает при этих словах? — ведь ему кажется, что изменения предсказуемы, о будущей пандемии еще никто ничего не знает.

Помощники *Президента* — только исполнители, они его высоко возносят, но любят ли? Это сообщество создает себе божество из *Президента*, так насельники отсвечивают в его лучах. Они не думают ни о порядке космоса, ни о случайности, а о потенциях говорят с китайскими лекарями, когда начинают стареть. Но ведь есть, Розанов еще больше шурит глаза — охотник по следу, предыдеальные потенции, из всех видов наиболее чистый, беспримесный, труднодостижимый вид. Это существование не связано ни с каким определенным пространством или временем — нет ничего, на чем человек, остановив свое внимание, мог бы сказать: здесь оно существует. И между тем это, нигде не указуемое, есть, существует.

Как мальчик, выросший на асфальте, вдруг стал чувствовать, что Бог есть? Только не надо в ответ про то, что у каждого свой путь. Да ведь сам Розанов, пишет Бердяев, зародился в воображении Достоевского и даже превзошел своим неправдоподобием все, что представлялось гениальному воображению.

Может, *Президент*, сейчас в библиотеке подумал — *монах в миру*? Аскеза, воздержание — откровение в молитве, доверие только к святому, одиночество среди всех.

Президент знает, он на службе.

И хорошо бы не любить одну женщину, чтоб не впасть в соблазн, чтоб не было удержания, но всегда хочется любить беззаветно. Быть с одной, а словно бы обладать

всеми. Тогда нужно считать, что женщина просто природа — нужна для существования. В ней нельзя оставаться — невыносимое удержание. И чем жить?

Надо вырваться из удержания — свои записки в тот вечер я забыл в библиотеке и не захотел возвращаться, иначе не будет дороги. Да ведь рукописи не пропадают бесследно, даже если их сжигают вместе с библиотеками.

Розанов сокрушался, что всех настигает немощь.

Как бы не погореть мне по-розановско-офицерской метафизике пола.

Мандец.

5. ЖИЗНЬ И БОЛЬ

Жизнь в деревне простирается от земли до неба, а в городе — даже в Кремле-столице, от подвала до чердака. И *Дракон-виртуал* прикрыт рукавом неизменной для официальных мероприятий белой рубашки.

А с утра в паузе между докладами *Президент* вспомнил о читанной на ночь книге. Строки про господство и силу, про тотальную мобилизацию, про странно внедрившуюся в господство и силу боль. Эрнст Юнгер на двух мировых войнах ранен четырнадцать раз. И то, что Юнгер писал в воспоминаниях о России и о войне, о людях в житейском существовании, было настолько не похоже на представления *Президента*, что начинало казаться, никакой иностранной правды совсем нет.

Но главное, что Юнгер не терпел удержания.

И странный выбрал эпиграф из поваренной книги для домашнего хозяйства всех сословий.

«Из всех животных, которые употребляются человеком в пищу, раки, по-видимому, умирают самой мучительной смертью, поскольку их помещают в холодную воду и ставят на сильный огонь».

Вздыхались наводнения посреди ночи, подтаивали разбухшие рукотворным теплом айсберги, сорвавшаяся с размякшей горы сель смела на своем пути несчастное селение, взрывались этажи от газа, дежурные эскадрильи были готовы к взлетам в режимах *погона* или *перехват*, ракетные части готовы к залпам на поражение — об этом он узнал с утра в первых докладах. А тут еще страдания красных раков из поваренной книги времен первой революции в Европе.

И все потому, что существует удержание-боль. Тот, кто способен превозмочь боль, обретет доступ к силе и власти. И к тайне господства: скажи мне, как ты относишься к боли, и я скажу — кто ты. Но боль только у того, у кого есть любовь. Принять боль можно только потому, что любишь.

Какие адские трубы зазвучат из неминуемой будущей боли?

И *Президент* — просто-напросто человек. *Атомный чемоданчик* — придаток существования, символ защиты и мгновенного нападения, знак боли. Самодельный сапожный ножик нужен, чтоб домового прогнать, необходим самим собой выкованный взгляд. Но в предутрии особенно ясно, что нет защиты от боли, дракон навел взгляд — тоска настигает.

Советник толковал вчера про апокалипсис. Розанов — персонаж совсем странный, впору в советскую разработку. Унылая ориентировка, то перед одними грешит, то перед другими, то перед всеми кается. На кого работал? Но от себя не отказывался никогда. На войне не был, все время воюет. А тут потепление, сель плывет, дожди полмира накрыли, куриный грипп, собачье бешенство, террор повсеместный, теперь панде-

мия над всеми, а *юрод* Розанов все про придуманный конец света. Да и юрод ли? – все к молоденьким девственницам: как да что? Какого цвета сосочек?

А если конец света уже произошел?

Сказано же, каждый носит *ад* в самом себе. И знаки ада навстречу: если волк встопорщит загривок – удача военным, если вран поперек дороги каркнул – вопрос к спецслужбам, заяц перебежит – задание дипломатам: если с той стороны порскнул, что в пазуху – к удаче на переговорах, если из пазухи – жди новых санкций.

– О чем задумался? – *Президент* так у любого может спросить. Мы учились в одном университете.

– О пустом... *о веранде!*

– И что? – Он смотрел со странным вниманием, взгляд не отвернуть. Немигающие глаза дракона вбирали в себя – *удержание*.

– Если лето – варить варенье, если зима – пить с этим вареньем чай. На веранде, наверное, чай пил. Розанов в Сиверской дачку снимал.

– В Сиверской были пионерские лагеря. Я там впервые увидел аистов! – Он молчал, будто бы что-то вспомнил. – Был в лагере?

– Один раз. Хотел сбежать, когда не пустили на фильм «Илья Муромец». Отец рассказывал, как Муромец поганых свистом сметал.

– Свистом! – *Президент* всему находил какой-то особый, только им предполагаемый смысл.

Он даже мгновения не уделил моему взгляду.

– Веранда... – По-человечески что-то вспомнил. Я его не интересовал. – Розанов что-то особое знал?

– Да он сам не знал, что знает. – *Президент* говорил мне *ты*, а ведь я учился старше на три курса. Правда, у него почетный девятый *дан*, а у меня поздно заслуженный первый.

– Придумай себе псевдоним!

– Это обязательно?

– У всех советников есть.

– Молокан! Я в детстве ревел, когда молока не было.

Я вслушался в слово, давно его не слышал ни от кого. Раскольники-молокане всколыхнулись.

– Ты будешь... *ЛИС!*

Райнеке-лис, хитрюга из немецких сказок, облизнулся со страниц. Мне не понравилось, что немец.

– В позывном всегда есть тайный смысл! – *Президент* пальцами поманил к себе, как бабочку. – Ты понял? Значат первая и последняя буквы!

Я был в его удержании.

– Когда вдруг срочно понадобится, назовешь позывной: *ЛИС!*

– *ЛИС...* – Я подумал о первой и последней буквицах слова.

Машина выходила на острое закругление, водитель-майор строго вписывал бронированную коробку в поворот. И я подумал, что когда *Президент* мне вдруг понадобится, тогда никто уже не сможет ничем помочь.

Разве он не знает, что *свидетеля* всегда устраниают?

Но закругление кончилось – *Президент* отклонился на сиденье, закрыл глаза в минутной медитации. *Президент*, я видел вблизи, не попадал ни в чьи сети. Мне стало казаться, что его невозможно застать там, где он был минуту назад. Никто даже и не пытался удержать его – силу все признавали, в ней отражались, но вокруг было пусто – он зачищал поляну вокруг себя.

Не терпел удержания.

А если прав Платон и закон неизменен: после разгула демократии всегда приходит тиран? Но даже если уже пришел, жить можно. В моей казенной квартире был набит холодильник, припасы возобновлялись, когда что-то кончалось. Всегда красное вино, но я пил мало: сердечко стучало, напоминая. И всегда спешил провалиться в сон, чтоб ни о ком слезно не успеть подумать.

Но радовался печально, когда появлялись слезы.

6. ДРУГИХ ЧЕРЕЗ СЕБЯ

Не надо много слушать других, не будет силы. И времени совсем не станет — не только апокалипсис нашего времени, как у Розанова, но смертный конец самой временности.

И где тогда жить?

Не быть в удержании. Не привыкнуть, не сдаться, не задохнуться.

Задержать третье дыхание, что спасет — змеем выкрутиться, зверем вызвериться... связать чужие руки — выбрать момент. Сверху захват за отворот дзюдоги правой рукой, а левый локоть в горло. Не смотреть, не слышать, не видеть — тело умней человека.

Даже если этот человек *Президент*?

Нет никакой территории вегетарианцев — нет больше советского народа, когда можно было в любой чайхане в любом ауле быть гостем. Теперь от душного давления *Домового*-хохла не скрыться даже за кремлевской стеной. Невыносимый национализм тупой скуки! Эта гегелевская уверенность и удовлетворенность является подозрительной — *Президент* видел буйство на улицах Берлина, когда упала стена.

— Откуда ты знаешь про боль?

— Я с ней живу...

И *Президент*, кажется мне, поверил, хотя никому до конца, думаю, не доверял.

Да в самом главном слова вовсе ничего не меняют. И только всеприсутствие боли придаст слову правдивость. А боль была до всего, хотел сказать, боль — это *ничто*. Только меланхолия приближается к боли — знаки рассечек и шрамы меланхолию прерывают, чтоб ее окоротить.

И потому, наверное, *Президент* слушал меня.

Советник умеет сострадать, умеют все слабые меланхолики.

Но этот — *Президент* лишь один раз подумал о нем, да и то в третьем лице — будто бы мог давать всему голоса — лемех блестел бессловесно, но был замечен, шкура убитого лиса мышкует на ветру, теряя рыжие остья, продолжает охоту, чучело надолго переживет смерть. И вздох домового наполнен смыслами, тяжесть напоминает об удержании и боли, где нет ни одного движения свободы. Боль оттуда идет, где не виден источник. Роды есть, а родник невидим. Туда взгляд обращен — вот для чего нужен свидетель-советник *Лис*.

Все тело предутрия в памяти от тяжести *Домового*.

А наяву синяки-письмена расшифрует юрод *Советник* — нет нигде ни чистого тела, ни чистого замысла. Ты грязный, значит, ты живой. И это последнее больше всего задело *Президента* — в конце концов то, что он узнавал, было свидетельством того, что он уже знал.

Свидетель-человечинка в мировом спектакле жалкий актер или всеильный автор? — присмотришь к мощи дракона. А вокруг почти нерасчленимая масса людей, цепочки и череда лиц — бесконечные удержания, муравьиные тропы, пчелиный рой, где матка спаривается раз в жизни с потоком трутней. Ничем почти не отличается от человеческого роения, только спаривание человеческое чаще и проще.

Сверстники собирались почти все в мореходку.

А он хотел стать разведчиком.

Никому не говорил, уже тогда словно бы по инстинкту знал: не надо оставлять особых примет. Из любой мужской компании уходил так, что никто почти ничего не мог о нем сказать. Был человек, сидел рядом, рюмку выпил в честь женского дня, анекдот рассказал — совсем недавно рядом, а вспомнить нечего.

7. КЛИНАМЕН, ИЛИ ДОРОГА БЕЗ ВЕРСТ

Я будто бы все о нем знаю.

Даже то, чего он не знает сам о себе и чего, может, на самом деле нет. Действует контингентность: любой мир в философии Эпикура — результат сцепления отклонившихся от своей орбиты атомов, и надо все время быть начеку. А Розанов, ради которого меня вызвали в разговор, даже апокалипсис определил в свои дни. И если обо мне *Советнике* легко можно узнать все, то обо мне — *Свидетеле* — ничего. Но если я о себе ничего не узнаю, то *Президента* не пойму. Тогда не пойму и самого главного: зачем направлен к нему в разговор неведомо кем?

И ведь со времен тотемных сообществ запрет на прикосновение является основным.

Человеки вокруг, органика заводная.

«Кукурузник» брежневского времени летал в самые отдаленные места империи по два раза в день — вздымал местную пыль силой губернской. А перед взлетом подрулят летуны к краю бахчи, понесут в кабину арбузы — ревет двигатель, потоком сорвал кепку с головы польщенного сторожа — летуны руку жмут.

А на краю взлетного поля высокий могучего возраста человек ждет посадки. Это тот самый, которому я показывал родники в лесу, — учитель географии попросил ему помочь. Я тогда спросил, зачем ему родники, и он ответил, что скрываться можно только рядом с источником. Кто теперь мог скрываться, я не понял. А сейчас он достал из чехла две ракетки — серую пыль выбьет из самолетной перкали или стегнет кружевца подсохшей сорочки супруги начальника аэродрома?

Подкинул в воздух белую птичку, подхватил сеткой. И так легко-сильно я бил в ответ с левой, что свистел воздух, рассеченный ракеткой. Ни разу волан не полетел точно к сопернику — метался в горячем воздухе, как вспугнутый слеток. А самолет уж подруливал к дому, где продавали билеты — пара прищепок вцепилась в плечики, задрано розовое комбине супруги начальника аэропорта. И летчик пакеты серо-зеленые пассажирам вынес.

Я не взял — уж вижу себя чужим взглядом.

И вот внизу овраги-провалы, белые с прозеленью горы — там где-то внутри вырытые монахами пещеры, где скрывались дезики разных времен, речка вьется — самолет проваливается — снова вверх, рты влажные, дыня брошенная катается туда-сюда.

Как хорошо, подумал над очередным провалом, что не стал летчиком. Может, привык бы к провалам, летал над полями, над речками — видел все сверху. Крякутный-крестьянин с колокольни на крыльях спрыгнул и не разбился, зато удержанием попы скрутили внизу, чтоб к ангелам не ревновал. А *Президент* на военном самолете в места боев прилетал.

Потом самолет приземлился, городской фонтанчик играл своей волей, не зная течений. А толстый инженер с папкой для бумаг остался сидеть на траве, когда все пошло к выходу.

— Ох, как вы на нем летаете, хлопцы? — По-бабьи у летчиков. — Детям... деточкам своим закажу!

— Жрать меньше надо... — в сторону буркнул второй летчик.

На вокзале толпа у билетной кассы.

И один лет двадцати шести, уже отслужил армию, вдруг за свое семейство кинулся против всех. В глаза не пускавшей к кассе женщине выставил два растопыренных пальца!

Двуперстие рогатое... мгновенно вызверилось лицо.

А внизу в туалете курил мужской народ, будто напоследок. И дед из каких-то совсем диких мест задом поперся к раковине.

— Ты что, дядя?

— Оправиться... — Держал в руках полуспущенные портки.

— Да куда ты, черт!

— А куда ж? — Мостил голый зад к раковине.

— Тут руки моют!

От полуспущенных портков все отвернулись — большими пальцами показывали в угол.

А билетов на Москву ни для кого на сегодня нет.

Очередь бьется перед окошками кассы.

И я за две копейки позвонил по номеру, что человек с аэродрома дал. А буйствующий у кассы человек и при нем не унимался, готов каждому бить в глаза, кто к кассе не подпускал.

Да вдруг человек, что играл со мной в детскую забаву с воланом, пошел прямо на него.

— Звание? — Встал перед буйствующим за три шага. — Фамилия?

— Старший сержант Корягин! Конвойные войска!

— Выйди на улицу! И вы за мной! — сказал женщине с младенчиком.

Через левое плечо страшный буян сразу резво в сторону выхода.

И старый-престарый чернеющий паровоз вдруг заревел за окном умирающим криком, потащили на распил и переплавку. Собирайте лом для мартенов! — призывал вслед плакат.

А человек повел меня и женщину мимо толпы к военной кассе — показал удостоверение.

И кассирша с улыбкой уже протянула билет.

Я вспомнил почему-то, как заря занимается рассветно неудержимо.

— Товарищ полковник! Разрешите обратиться? — сбоку голос. — Билетов нет... мне с семьей до станции Бологое.

Тот, кто недавно грозил всем, встал навытяжку.

— Сержант, что такое истерия? Истерия!

— Болезнь какая-то... нервная.

— Бабы! Бабы болезнь! — от слова *матка*.

— Так точно!

— А впадаешь в бабью болезнь!

— Виноват!

— Билет уже куплен! Благодарю супругу!

— Так точно!

Человек не прилагал никакой силы, и тот, кто недавно яростно ее из себя выделял, сразу стал существом подвластным.

— А его все боялись! Сила! — сказал я.

— Дурость! — в ответ *Полковник*. — Сила над дуростью всегда берет верх.

— Все боялись!

— Да глупой он... — как-то простонародно сказал человек.

— Февралек? Два вальта в побеге?

— В карты в поезде не играй со шпаной. Давай к вагону! Как назвал себя Одиссей? Когда ослепил Циклопа?

— Не знаю! — Не хотел я поддаться обаянию.

— Он назвал себя *Никто!* — звонко сказала из-за моей спины женщина с ребенком.

— Вы знаете?

— Учительница русского языка!

— Жена — учительница! А ты пальцами в глаза тычешь! — *Полковник* сказал тихо, чтоб услышал только сержант.

— А что вы в наших местах делали?

— Ты знаешь, что бандеровцы были?

— Тайна Черного леса? Знаю... в Карпатах.

Полковник посмотрел, будто хотел понять, можно ли мне это сказать.

— Человека, что родники бережет, знаешь?

— *Партизан!* Его все знают.

— Группа была... бандеровцы. И схрон где-то должен быть. *Партизан* тоже с ними вроде бы. Допрашивали его, признали невменяемым. А к схрону кто-то придет. Ты не видел у него... яйца есть?

— Какие?

— Да как у всех!

— Что мне в мотню заглядывать? Он мне родник показывал.

— А почему тебе?

— Я в шестом классе на Запорожскую Сечь хотел убежать. Про Тараса Бульбу прочел!

— А ты показывал кому-нибудь те места?

— Он говорил... тишина нужна! А то родник затопчут.

— Покажешь мне следующим летом?

— Зачем?

— Интересуюсь... географией.

У *Хранителя* был ножик из обрубленной шашки — золотой от прикосновений эфес сам просился в руку.

— Ты в мореходку?

— В университет.

— На какой факультет?

— На журналистику.

— Чтоб ничего обо всем? Ты займись главным! Самым главным. — Вдруг притянул к себе за рукав. — Займись силой!

— У нас демократия! — Лицо *Полковника* перед глазами было близко, что я будто бы в него вплывал.

— Демократия! — Он так взгляделся, что сил не стало отвести взгляд. — Сократа знаешь? Демократы приговорили к смерти!

— У нас социалистическая!

— Когда поступишь, зайди в первый отдел. Скажи, что я с тобой говорил. *Полковник* Бондаренко из Воронежа. И дзю займись! В дзюдо дураков не бывает!

И я как-то смутно-сумеречно понял, что словно бы уже включен в какой-то совсем неведомый мне замысел. А в дзюдо и карате дураки, теперь знаю, есть, как и везде, правда, их там меньше, чем в других местах.

В Бологом поезд стоял целых десять минут — все вышли, и я за всеми. На перроне уж накрыты столы: на каждом месте чашка с горячим борщом, котлеты, в стаканах краснел морс.

А в тамбуре сосед приבלатненный: там бассейн заключенные строили, лом вмуровали в днище! Самый главный спортсмен с вышки — ббшкой прямо на штырь! Потом

сахзавод строили под Калачом, внутри трубы фуфайка чуть не под каждым швом — забьется труба вонючей водой. И вслед с анекдотом на весь тамбур: «Едут четверо в купе... темновато! Одна к мичманку на колени. Раз приподнимается, слушай сюда! «Вы откуда?» — «Из Ленинграда». Еще разок: «А вы откуда?» — «Из Ленинграда». — «Как я рада, как я рада, что вы все из Ленинграда!» Понял хоть? — хотел, чтоб я засмеялся.

Но баклану и мне *Партизан* уже грозил итальянской саперной лопаткой — по спине да по реберцам! А то толерантность нынешняя европейская, дома терпимости, бардаки из рассказов, бордели сенжерменские с девочками, что скачут или стоя дают.

Президент возьмет меня с собой — мечта исполнится.

Картезианский Париж!

Ты хитрым будь — не отстают бывший *Партизан*, юрод Никишка с медалью, от одного двора к другому бредет, от стола к столу: «Когда позовут на свежий борщ?» От родника к роднику, будто сам на себя наглядеться не мог, когда вода запоет. Хитрым будь, а то скалишь зубы вслед балаболу-баклану. С откопанной в траншее саперной лопаткой, на которой итальянский фашистский знак, бредет от одного родника к другому.

А в Ленинграде почти у всех модные расклешенные штаны, такого не было даже в самой Москве. И пешком — через весь Невский с чемоданом в сторону университета — дорога прямая, потом через мост.

В красоты невиданные.

Только сюда! Позади косноязычие суржика, даже учителя рассказывали по чужим параграфам и главам.

А тут эти книжки пишат.

Песчинки танцуют в расчищенном роднике, каждая свою тень на миг подбрасывала над собой, роились без матки, без замысла. А под мостом могуче двигалась сине-зеленая вода, опоры разрезали течение, стремительно входил под мост белый корабль на торчащих из-под воды драконьих лапах. И подумал, что можно сверху прыгнуть, обязательно развернувшись лицом навстречу движению, попасть прямо на белый парусиновый тент — упасть на руки, там затаиться невидимо для набившихся под тент пассажиров.

Белели внизу штанами и юбками, как недельная детва, чуть уже подросла в сотах.

8. НАГОЕ, ОДЕТОЕ В СВЕТ

Совсем далеко осталась церковь в Калаче, где крестили, когда исполнился год. Зашел — ангел со стены с приветствием, вышел — с благодарением. Привезли тогда на паре коней — материна подруга была крестной, а крестный где? «Где, где — в борозде!»

Почему рыдает ребенок полутора лет? — понимает в переживании, что он такой, как тот, кто на руках держит. Имя свое знает, сказать ничего не может. Закралось чужое: не понимая, что происходит, рыдает, от мамкиной груди отлучили, сосочек перчиком присоветовали потереть, на всю жизнь горечь. Конечность, зарывается в самую бессознательную глуть первичный страх смерти. Остановился посередине моста — прыгнуть сверху на белый тент, выбрав упреждение. Сказать *Президенту* при следующей встрече, что хотел прыгнуть? И он хотел сделать такое?

Откликнется на признание или надоеет речевой поток?

Почувствует, что слова о прыжке с моста, о бешеной лисице, о старике, что спасал родники, вдруг подступают назойливым удержанием? И мне снова в свои места — между Пушкиным и Набоковым, между Вырой и Рождественном, топить баню, читать книги, с каждым утром чувствовать, как разрастается затемнение на правом глазу, сны семяпустные вспоминать поутру?

И чтоб спастись, надо подумать о себе — *он*.

Я думаю... — с чего это *он* взял, что вообще умеет думать? Философ, который начинает с *я*, потенциальный самоубийца — так говорил видевший чертей по пути в Каир Владимир Соловьев, — расселись голубчики чернопузые на борту судна.

Это чужой? — *он* спросил и меня называет — *ты*.

Кто его любит, кого он любит, что может сказать на исповеди?

С кем спит? И что делает, чтоб жизнь могла продолжаться?

Что снится после настоя шуманджу?

Навстречу всем стяженным местоимениям — *я*, *ты*, *он* — несется микроавтобус с макросоветниками, как раз заговорили о пенсиях после выслуги. Такой пенсии, как у меня, не будет ни у кого из выпускников философского факультета. Может, только один мелькающий на экранах либерал удостоится отличий, да и то потому, что в последние года стал советником Жириновского.

Денег на жизнь хватает.

А *Партизан* склонился над родником — с верхотуры Дворцового моста легко замечать все внизу. Лисовин к роднику на брюхе ползет, нос до крови колючкой терна уколот, капли красные на ноздрях. Лисята поскуливают, друг друга зубами за жалкие хвосты. Лисица белую кость грызет, больше нечего. И женщины на берегу среди лесочка с незагорелыми выше локтей руками, белыми коленями, белыми животами. Сбросили сейчас синий и розовый трикотаж, коричневые чулки свернулись возле юбок, резинки скукожились, развернулись подвязки — все разом в теплую воду. Когда голые в новолуние опахивали хутор, в плуг впрягали молодых девок — прогоняли коровью смерть, нагие буйствовало вокруг борозды.

Навстречу не попадись чужак — разом оторвут яйца.

И в полднем купании вспомнили особенную свою женскую природу. Русалки с картины, выныривают плечами. Все разные, все одинаковые! Ничего не прикрывают, никто не видит. А уж на берег из воды по-разному: прикроются полнотелые, чтоб не сглазили, а худые, чтоб не посмеялись.

И я сразу в сторону, чтоб из-за кустов поглядеть.

Охотник.

Схватил крайнее платьице синее в белый горошек. А голубые трусы с бубновым клином кинул в колючий куст. Какой-то охотой подманивал — теперь та, чье платье украдено, залучена в силки. Отполз от места, где на песке остались только туфельки рыжие. Натянул на себя платьице — как раз по тощей фигуре.

Платочек повязал низко на лоб. Зеркальце в кармане платьишка круглое — поглядел на себя, совсем девичья до черноты загоревшая рожица, только жесткие губы и шрам над левой бровью. А чуть в стороне от всех паренек-водонос голый купался отдельно. Светил белой спинкой за кустами красного ивняка.

Сейчас прямо к нему в девчачьем наряде, чтоб обомлел от стыда.

И вышел, рукавчиком прикрывал рот.

А водонос стоял лицом к солнцу. Руки длинные — вытянулись оттого, что целый день с ведром в руках, тонкие руки, совсем без мускулов. Тихо подошел к нему гавкнуть из-за куста, чтоб испугать.

И водонос повернулся.

Кружочки груди и черный мысок внизу живота, коленца круглые — она увидела свое платьице на моей черноногой фигуре.

Медленно опустила на белый песок. И вся будто бы собралась в одно маленькое объятие, обнимала себя — испуганный присевший зверок.

Стала ладонями стряхивать со ступней горячий песок.

— Иди, иди! — снизу сказала, не глядя, будто совсем не мне.

— Куда?

— Одеться мне... платье отдай!

Девичий голос никогда не был так близок.

И тут сообразил, дурачок дурачком — вырядился в ее платье. Раньше встречал на улице — такой была тонкой, что почти не чувствовалась женщина. Только петь-танцевать! Ничего-ничего! Надевала платье через голову... не попала в рукава, платье скрутилось на шее. А у меня, снова о себе как о другом, слова пропали вслед пересохшему горлу. Просто видел — без слов, прикосновение при ней было невозможно даже к самому себе.

Маленькая грудь показывалась между локтями, пока не одернула платье... не носила лифчик. Живот мальчика — потрогал рукой свой собственный, будто прикоснулся к ней. Такое тепло шло от нее, обволокла особенным собственным, что поверх полдневного майского.

Чувствовал горячий песок ее ступнями, ее ладонями погладил свои плечи — странно прохладные сейчас, будто вслед за ней входил в то место, где родники в глубине. Сам бы лег на воду и поплыл вместе с ней, даже голову задирает, чтоб не закрывали лицо ее черные волосы. Она тоненькая — до всех женщин, которых недавно видел на берегу. Из нее будто бы рождались, никогда не слышал о самой первой женщине Еве.

Она из воды вышла словно бы для того, чтоб показаться и навсегда остаться.

Живот плоский, узкие бедра, рожать будет трудно — вспомнил слова врача, когда проходил призывную комиссию. А вот на таких надо жениться, хлопцы! — показал тогда красноносый врач на роскошную медсестру-практикантку. И рожать будет легко, и пригреет! Ножку сверху положит! Мужчины делятся на тех, кому нравятся полные женщины, и на тех, кто это скрывает! Лучше качаться на волнах, чем биться о скалы! Мужчины не собаки, на кость не бросаются! И стоящие в одинаковых черных трусах призывники понимающе улыбаются словам бывшего военврача, будто он все вокруг приравнял к своей тридцатилетней проспиритованной службе.

— Бедро узкие... трудно рожать! — вдруг повторил слова доктора из медкомиссии.

— И не с такими рожают... — Она склонилась к одежде почти у него под ногами. Встала, не отворачиваясь. — Все рожали! — показала назад, где сидели купальщицы.

— Там есть соседки... у них на двоих один муж! С вечера до вечера в одном дворе, а потом в другой. Если колун занес над чурбаком, а солнце село, колун на землю! — Ему хотелось как-то отделить ее и себя от всех.

— Его жена в войну попала в овраг с мокрым снегом. Кони провалились... Нашли, почти замерзла. И все, не может жить с мужем. А он ее не оставил. И с новой женой живет. Обоих любит... жалеет.

— Я не знал.

Платьице скользнуло сверху вниз, розовые кружочки груди с точками сосцов — словцо из расслышанного случайно библейского чтения, она подняла руки, потянулась к солнцу, словно только теперь после речной прохлады почувствовала тепло, совсем непохожее на жар, что в полдень сжигал на поле.

Стала на одной ноге, вынимая колючку, склоняясь.

Женщиночка-цапля — подсмотрел издали *Партизан*.

Она охотница. А он-то думал, что охотник он. И никогда не было так успокоенно хорошо — она села и потянула за руку вниз. Головушку вдруг склонила к нему на плечо.

Вился под ногами ужонок, рой пролетел — на лету трутни спаривались с молодой маткой раз в жизни, шмели вползали в лона цветков. Пауки растянули тенета, чтоб ловить.

Он легко и без удержания пойман.

Таких, подумал, бабы не любят и презируют, обыкновенный страдатель.

И, в конце концов, такой всегда слабак. А бабы сейчас кинутся всем голым табором, штаны стянут на общий позор, будет в песке вертеть голым задом.

Мошонку бы оторвали, да своего бабьего жалко! Был в каком-то полдневном оморке — странно видел все в таком виде, в каком оно есть. Женщин голых в купании, летящий рой, девичье белое тело — в женское приоделся, чтоб со стороны взглянуть.

Но рой пролетел в поисках пустого улья или дупла, женщины вернулись к работе.

Девушка нагая, что была совсем рядом, недосыгаемо далеко. Но бес полуденный выждал своего часа — морочил близью. И девушка, что минуту назад стояла на горячем песке совсем нагая, теперь тоже вливалась неразлично в борозды дня.

Есть свидетель у нагой жизни?

9. ПАРУСИЯ, ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ

Незримое присутствие — *парусия*. Но война, как говорили древние китайцы, любит победу.

Дракон признает только силу. И *Президент* чувствовал, что больше нет *удержания*.

Дракон могучий расправлял крылья, а *домовой*-топтун остерегался давить.

— Раньше дзюдо занимались?

— Откуда вы знаете?

— У вас очень мягкие бедра!

Профессионала не обмануть — японец Сато-сан увидел сразу, дракон дракона узнает по жесту.

Мягкие бедра, пластичные мышцы, все видящий взгляд — человек — превосходное произведение природы. Таким создан великий *Левиафан* — могучий искусственный человек, который хранит естественного человека.

О чем речь в книге о могучем *Левиафане*? — скажу *Президенту*.

Не о насилии, а о любви — к слабому, слабому естеству.

Поговорка уж высказана: мудрость приобретается не чтением книг, а знанием людей. Но они все разные, значит, читать надо самого себя! А раз мысли и страсти одного сходны с мыслями и страстями другого — неужели такие есть, кто готов прозябать в удержании? — тогда тот, кто смотрит внутрь себя, будет знать, каковы бывают при подобных условиях мысли и страсти всех других людей? Таковы сходства страстей — желания, страх, надежда. И гримасы будут похожими — вот загадка гуманности. Но люди удержания не терпят — в каждом на свободу рвется свой *дракон*. И хоть человек некогда не был зверем, а с самого начала был человеком, но одновременно существом разумным и демоническим. Лицо всегда в гримасе, обнаженную натуру никто никогда не видел. С утра человечинка всех любит, а к полуночи скукожится под *Домовым*, в полудне сам давит, даже не отбрасывая тень. А раз такова природа, надо выправить естество.

В самом себе иметь странно чудное даже для самого себя просветление.

Шаг за шагом, смягчается природа, притихает зверь, люди себя умиротворяют.

Спасает же старик *Партизан* родники.

А чтоб знать, куда вести, нужны глаза, и уши, и границы, и кодекс. Нужно изменить дух так, чтоб изменилось тело. И нужен присмотр — устранять тех, кто мешает. Но даже у тех, кто присматривает, надо убрать монструозность.

Удержание невыносимо, сердце каждого хочет освободиться.

Нужно выпестовать, переродить, сублимировать, как говорили святые отцы, дикие чувства в светлые переживания. И все станут лучше, а призраки скукожатся и уйдут в сны.

Но *Домовой*, что прилепал призраком в предутренний сон, никуда не уходил. Ему не нужен чердак под высокими красными звездами. Не нужно в навечерие Васильева дня показываться где-нибудь в темном уголке за портьерой. Он мог бы посетить даже Тронный зал. И этот воображаемый призрак так забурел, что от него почти нет спасенья. Где искать? — только в том, что придумал сам.

Но до этой придумки было еще очень далеко с того утра, когда потянул на себя тяжелую дверь здания в начале Литейного проспекта.

10. ЛЕВИАФАН ЗНАЕТ ВСЕ?

В предутренний сон *Президента* я отправил *Домового-хохла* — удержанием хочет давить, но скоро рассвет. Умственные фикции — вот с чем приходится иметь дело. Воображаемое господствует над воображением, как этому воображаемому противостоять? И проще простого вслед Гоббсу объяснить, что пребывание в холоде-одиночестве порождает страшные сны — движение от мозга к внутренним частям и от внутренних частей к мозгу бывает взаимно. И так как гнев порождает жар в некоторых частях тела, когда бодрствуем, то слишком сильное нагревание тех же частей, когда спим, порождает гнев и вызывает в мозгу образ врага. Повернуться на другой бок — дать легко отдохнуть сердечку, спокойно утром плыть в воде бассейна, медитировать в карате-додзе.

Потом затеплить лампадку, светло выйти из удержания. Проснуться и сказать, что сон дурной бывает при множестве забот, домовых не существует — это иллюзия и призрак. Мне нагую *Деву* с горячего песка берега внедрить из собственного давнего полдня в чужой предутренний сон?

Что наступает после разгула демократии? Из текста Платона известно: приходит *Тиран*. Но меняются представления, слабеет память — ощущения блекнут. Надо постоянно их подпитывать, оживлять воспоминания.

Надо складывать себя, формировать, тренировать тело, многократно повторять броски и подсечки — довести до автоматизма. *Левиафан* могучий признает только порядок, а *Дракон* действует. И будущий *Президент*, с юности восстав против удержания, потом долго верил, что почти все знает о великом *Звере-Левиафане* и может заставить служить себе.

Именно потому, что сам беззаветно служил ему.

Почему захотел работать в разведке? Не хотел быть в удержании существом тупо сдавленного тела.

Теперь прежние угрозы стали терять силу, что-то новое нарождалось, он чувствовал невидимых охотников, вышедших за добычей. Странно было бы так говорить, ведь он почти обо всем происходящем в мире знал. Будто бы знал и то, чего еще нельзя знать, может, никогда и не узнаваемое.

И знает, что страшна не сила, а угроза силы.

Но утрачивалась сила, словно потерялось представление о наготы и обо всем, что с ней связано. Даже молодежный ночной *самострел* лишился обладаемого лица — простая физиология выплескивалась из мужского нутра. И жизнь уходила вслед силе, таяла, утрачивалась, становилась квелой. Но коршун кружил над гнездом желтобрюшки, взлетывала над гнездышком, опасность видна. И двуногие белобрюшки-бабы природно уводят от гнезд, где беззащитны будущие роженицы и будущие охотники — двуногие без перьев в пеленках.

И я — *свидетель* — все встраиваю в собственный взгляд. Не соглядатай — даже там соглядатаем не был, когда смотрел на купальщиц.

Не корыстно любопытствующий проблеск, а взгляд-свидетель.

Вот солнце сейчас выглянуло и скрылось. И когда меня удалят, чтоб не томил и не разглашал, всмотрюсь в окружающее как будто из сновидений.

Но таких сновидений, что наяву хотят оказаться упреждающим проблеском.

И когда я хотел представить что-то несомненное ясное, вспоминал женское купанье, радостное плесканье, видел купающихся женщин, и каждая хотела заботы и ласки. Почти детские жесты и смущенные без смущения лица — они будто делали вид, что неловко, на самом деле только и существовали в природной нагой полноте. А смущение остается потому, что никогда не должно уходить.

А через полчаса, когда еще раз навел стекла трофейного бинокля на женскую стайку — пестрые одежды и белые платочки делали всех похожими. И ту, что недавно была совсем рядом на горячем песке, не смог разглядеть. Узелки с едой на коленях — в углублениях между ног природно лежала снедь. Одни наособицу, другие передавали друг дружке малосольный огурчик, половину яичка, сваренного вкрутую. И недавней моей милой перепало со всех сторон — тошеньку подкармливали, а то никто из отслуживших армию неженатых парней не взглянет. А она, сейчас различил ее среди всех, вдруг подняла головушку и долго вглядывалась в то место, с которого *он* мной сейчас смотрел на нее.

И потом, когда увидел почти весь белый свет, будет всегда вспоминать тот полдень.

Если у женщины малый сыночек помер, яблочко она не ест, пока не настал Яблочный Спас.

Если съест до срока, не получит райское яблочко тот, кто теперь в раю.

11. ПРОСТОЕ ЗАБВЕНИЕ

Огромная земля лежала в его заботах.

Территория? — нет, пространство.

Места не просматривались — паноптикум помутнел стеклами. И среди прочего короткое сообщение о самолете, что разбился на поле и напоследок отравил пчел.

Белотелые женщины берега скрылись в мерцании течения, ни одного лица, ни одного взгляда оттуда, ни всплеска. Только та, что отбилась от всех, нагая на горячем песке осталась неуязвимой среди всех слов и встреч. А Парусия, о которой *Президенту* говорил *Советник* с позывным *ЛИС*, как раз означает незримое присутствие.

Президент спрашивал себя: что он должен предчувствовать, когда *Левиафан*-служака не защитит? Вода спасаемого юродивым *Партизаном* родника живо стремилась, освобожденный родничок танцевал. А *Президент* среди сотен встреч, когда его слушали миллионы, вдруг готов замолчать. Но только то, что замолчать не мог, не давало молчанию сбыться.

Новейший прием удержания?

Среди тысяч людей он все больше оставался один.

Легко было найти ту девушку, что стояла на горячем песке, — теперь иногда в предутрии *Нагая* показывалась, чтоб прогнать тяжелого *Домового*.

Невроз? В снах приходит *Нагая*, и *Президент* успокоенно засыпает, хотя понимает, что это просто сон.

Могла бы помогать жить... стеснялась острых плеч и маленькой груди — на горячем песке поднимала то одну, то другую ступню, отряхивала песок. Ее движения не были напоказ, будто ее видело только то существо, которое всегда видит всех и неотрывно готово смотреть на естество милого женского жеста. И это существо-свидетель, которое он никак не мог представить, любовное и хранящее, было в то же время совершенно равнодушным.

Все показывало, ни во что не вмешивалось.

Это странное существо-напиток: *фармак* — толковал вчера *Советник*. Ни лекарство, ни яд, но может быть и тем, и другим. Но склонялось все-таки к яду — могло усиливать беды отстраненным взглядом, равнодушно было к палящему солнцу, равнодушно к пожару и равнодушно даже к возможной всегда смерти

И всегда перед встречей с *Нагой* на берегу в предутрии ледяным дыханием навалит-ся разлучник *Домовой*. А женщины из видения снова пошли, склоняясь, — он ясно видел из сна, друг за дружкой, кто ближе к меже, кто дальше вдоль по рабочему полю. И в белом платочке, таком же, как у всех, шла она, со всеми сливаясь заботой и дыханием.

Через много лет он увидит икону, где Ева написана еще до изгнания из рая — покатые плечи и узкие бедра, она еще не знает, что будет рожать. Еще не женщина, а в ней уже все женские существа. А вслед за ней каждая, кто с ней рядом, из житейского существования будто бы превращалась в мать всех живущих — он так, конечно, не думал, слов не знал, но кто-то говорил их вместо него. Отделенные рекой и межами женщины были в своем мире, девочка-водонос ходила меж ними, откликаясь на зовущие голоса. Даже различил звеньевую Марию впереди всех в работе, все ждала и не могла дожидаться своего желанного. Смотрел с увеличенной фотокарточки, присланной в войну дураком соседом, а карточка с убитого немца.

Но так не похожа кремлевская жизнь на прежнюю, что кто-то другой даже не мог бы понять родство. Да и сам *Президент* иногда почти забывал. Если бы рядом *Нагая* с узкими бедрами навсегда такой осталась, мог бы с ней говорить. Переодевшись в ее синее в белый горошек платье, мог бы рассказывать о себе как о постороннем. Платочек белый на голову, чтоб от зноя темечко сохранить.

Церковь, где молились предки, по его просьбе восстановили.

И место изменилось, словно все верования церковные и природные сошлись в одном месте. Но ухоженные прежде советские тверские поля зарастали, развелось огромное скопище пауков, гадюк и клещей, дупла в сухих деревьях заплетены паутиной. И белый песок, на котором стоит купальщица, сползал в обмелевшее течение, где на середине вырос красный лозняк. Он мог бы легко сделать так, чтоб местность разбогатела, но почему-то смотрел на те места, как будто они как-то естественно дичали, против известного порядка Левиафана, не хотели больше ответственность ни плугу, ни голосу. Земля будто бы возвращалась к какому-то первозданному зарастанию. Ее обихаживали, но что-то потерялось крестьянское, почти святое. И сад-огород Кремль, что он обихаживал, тоже словно бы зарастал, пространство скукожилось в территорию.

Будто что-то уходило за края любовности и молитвы.

А сила настоя шуиманджу рассчитана только на одну ночь до рассвета.

12. НИЧЕГО, КРОМЕ АТОМОВ И ПУСТОТЫ

Подступали к окнам поезда и позади оставались серые тесовые крыши. Не так, как в открытой степи, где лисовин, ползущий на брюхе, издали заметен. И коршун с высоты различит муравьишку. А тут люди будто бы придавлены к земле самой природой, где в глубине трясына.

Зато есть куда страх прогнать: на болотá, на болотá, на глухие места!

А через две недели экзамены позади — никто, конечно, не поверил словам в сочинении о том, что если не примут, он вернется домой и будет жить.

Приняли, будто поверили.

И счастливых повезли в сторону бывшей финской границы. Где-то тут воевал отец, лахтари ранили в руку. Теперь стояли серые одинаковые совхозные дома, все жители были приезжими — кто своей волей, кто переселен из тех мест, что в войну были

под немцем — притерлись курские, липецкие и орловские к берегам озер и грани-ту. Старшие ловили рыбу, молодые возле клуба на площадке для драк выслеживали городских.

И так все со всеми.

Но искал силу, за которой приехал. Родилась из своего родника — вспоминался *Хранитель*, что с итальянской саперной лопаткой спасал подземные струи. Сила должна быть в каких-то особых изводах.

Извод... — новое слово.

Из вод каких-то особых. Должны появиться знаки особого понимания, где сошлись бы времена, какое-то почти неведомое надвременье. Чтоб женщины в полдневном купание, что вырвались из каждодневной заботы, и те, что в праздники и на свадьбах пели, как-то встретились бы в одном времени. Почти подневольные стали радостными, нет войны. Ведь *Нагая* на берегу показалась так природно, что не было ни стыда, ни страха.

Но чтоб сошлось, нужна была сила.

Даже стало казаться, что он может быть сильнее всех. Или быть наравне с самыми сильными, а еще знать такое, о чем никому не скажет. Нужно какое-то странно не привязанное ни к чему утверждение.

Ленинградский ученик лаосца Ванга в зале в Ковенском переулке тайно тренировал группу — брал двадцать пять рублей в месяц. Вытянутые штаны, армейские галифе! И только у троих было кимоно-каратега! Ни фильмов, ни книг еще не знали, друг другу передавали бледно-серые фотографии. где Брюс Ли и Чак Норрис сошлись в смертельном кумите. И среди новых забот совсем почти забылись давние видения женщин в синей воде — девушка нагая теперь казалась из никогда не бывшего сна.

И до того времени, когда на ночь принимать настой шуиманджу, еще неведомо далеко.

Новая жизнь была с новыми словами.

Записывал на последней странице общей тетради: архэ, апейрон, атом, автаркия, алетейя. И почти ничего не было нового в сравнении с тем, что говорил *Спасатель* родников. Все течет — у каждого родника свой ток. Человек есть мера всех вещей? — не только человек-мера, но и каждый мерный родник.

И у быка свой норов.

Все было известно, только говорилось другими словами. За словами ничего нового не открывалось, и непонятно, зачем их так много. О чем толковал *Полковник* на воронежском вокзале, когда сказал, что надо знать самое главное? Знать, как живет и действует *Левиафан*?

Интересовала не очевидная житейская, а тайная сила. В словах или без слов в атаке каратеки, когда подсечка *хвост дракона* сметет на землю любого. А ведь крался сюда, как лис — след самолета давно занесло облаками, поезд пронесся — бегом-побегом по всей земле, где охотились и жили. Не волк, не пес, не кабан — лис хитрый двинулся на охоту.

Сразу в одном существе и лис, и охотник.

Черный охотник — первое, что узнал о силе.

По следу, по следу! Следя за всем сразу — за отпечатком, слушая лай гончака, запотел взведенный курок от дыхания, сердце из груди выскакивает. А чем бить? Бекасин жалкий, нулевка — пыль, только посечет кожу. Но если попасть в глаза? Вытекут на стерню, на глину, на засохший помет, на горечь-кровцу.

И где? — охота словесная вслед давно прошедшему. Зачем приблизилась в сон? Конечно, в одну и ту же воду нельзя войти дважды, но если вверх по течению? Не про-

сто *все течет* — все течет как дырявый горшок. И первый человек — охотник, идет по следу, имена создает: вот зайчик прошел, вот горностаи, вот кабан. А вот лисичка хвостом замела!

Вслед по заметенному.

Вот *замели* на факультете одного-другого совсем рядом, хотели новую сильную партию организовать.

А что, антисоветчину будут гнать?

Только там будет порядок, где власть и сила заодно. Силу не видно, а все собой пронизывает. И есть хранители: старик родники берег, а спецслужбы страну. И есть рыцари, схожие с героем из картины про разведчиков, только теперь будут еще изощренней.

Невидимые охотники.

И *Полковник*, случайно показавшийся на вокзале во всей силе, как раз был существом мощи. В его силе не сомневался никто, она будто бы поверх самой власти — очередь подровнялась при его словах, сержант искалеченные в стройбате пальцы сразу пригнул, будто рад был.

Все легче вздохнули и даже будто бы радостно. Надо, чтоб с радостью подчинялись.

Тайная сила невидима, только она и есть сила

За всеми всегда следят.

И сам этот взгляд важнее того, на кого смотрят, даже сильнее того, кто смотрит.

13. ТАЛАНТ ТРОЙНОГО ЗРЕНИЯ

— Занялся? — *Полковник* письмом отзывал в сторонку. — Самым главным? Невидимой силой?

— Не знаю...

И нужно не двойное, а тройное зрение. Смотреть вперед, назад и еще обязательно следить за самим собой. И если бы тогда стал ходить на полутайные встречи, где читали стихи эмигрантов, рано или поздно попал бы в объятия тех, кто за всеми следил. Бежали по крышам от сотрудников наружного наблюдения? Те, от кого убегаете, везде!

Объяснение из всей прежней жизни было бы одно.

Завербовали!

Но пока не был ни тут, ни там.

Партизан спасал родники — каждый родник добавлял к его взгляду немигающее пристальное смотренье в небо. Днем солнце и облака, тень ворона, две сороки, как две пестрые строчки по воде, почти неуловимая тень ласточки. А ночью звезды, тень совки, деревья заглядывают в воду, чтоб корням показать кроны.

А тут готовят тройное зрение.

И не третий глаз — достройка магистра философии видом циклопа. Третий глаз поднимался в своем взгляде над всеми — видел и тех, кто присматривал. Видел собственную естественную пару глаз, сам ни для кого не заметен.

Семерых выпускников философского факультета пригласили в кабинет декана. Было почти совсем темно, лампа на столе.

— Я хочу предложить вам работу.

— Спасибо. А что именно?

— Мы знаем вашу биографию. Неплохо учились... спортсмен, карате занимаетесь. Теперь, кстати, в подпольной группе у Ларина? Отец воевал в Сталинграде. Дед погиб на фронте?

— Из семьи пятеро воевали. Трое вернулись. Думали, что Николай, отцов брат, где-то живой. Он офицер был, знал немецкий язык. Пропал без вести.

— Офицеры без вести не пропадают. В Красном Бору дед погиб?

– Называли Мясной Бор. Казацки части держались дольше всего... лошадей съели! Там генерал Власов сдался в плен.

– Во-первых, есть два названия и два поселения. – Он будто не расслышал. – Есть Мясной Бор и Красный Бор. В Мясном Бору будет памятник.

– Я не знал.

– Во-вторых, всегда нужно говорить правду. Вы поняли?

И я в смятении подумал, что придется назвать имя историка, с которым пили пиво в ларьке у зоопарка. Он хотел написать книгу о Власове: получил под командование фронт, когда он был уже почти небоеспособен. Боеприпасов нет, снабжения нет. Маршалу Ворошилову побоялись докладывать, в каком положении армия – пропала в лесах и болотах.

– Диплом пишете о чем?

– О мифологии. Дева и Единорог!

– Мифология и конспирология? Есть разрешение в спецхран?

– Дали для написания диплома.

Я видел, что он все знает.

– Про террор читаю, про коллаборационизм.

– А единорог при чем?

– Единорога в открытом бою не победить. Он девственнице голову на грудь приклоняет... Охотники выскакивают и убьют! Рог отпиливают, снадобье готовят для вечной молодости.

Я подумал, что он почти не страшен. Даже лицо на миг показал из тени – откинувшись в деканском марксистском кресле профессора Рожина.

– А коллаборационизм?

– Коллабы... предатели. Хотя нет точного определения. Честно говоря, даже не знал, что их так много.

– Врагов?

– Предателей! «Синия дивизия», «Синий легион», «Синяя эскадрилья», «Синяя флотилия»! Испанцы в войсках СС! Штурмовая бригада СС «Франция», «Трехцветный легион», «Африканская фаланга»! Гренадерская дивизия СС «Шарлемань»! Сдались французы за два месяца, а потом французенок налысо брили за связи с немцами! Добровольческая танковая дивизия СС «Нидерланд». Штурмовая бригада «Фландрия»! Добровольческий корпус «Дания»!

– Хорошая память? – Его тень одобрительно кивала.

– Хорватская дивизия СС «Хандшар»! – Я понял, почему это ему говорю – уверенностью он напоминал полковника Бондаренко. На вокзале в Воронеже тот сказал мне, чтоб я знал самое главное. – Венгерская дивизия СС «Хуньяди»! Румыны, соединения СС! Болгары... войска СС, сдались американцам в Чехии. Были арабские и индийские добровольцы! Негры были!

Он кивал, поощряя. Болванчик говорящий, наверное, подумал обо мне, а я так о нем.

– А ближайšie?

– Восточные легионы! Туркестанский, Кавказско-Магометанский! Азербайджанский легион, Грузинский легион! Армянский! Северокавказский! Кавказский батальон абвера «Горец». Ваффен-штандартенфюрер Гарун аль-Рашид командовал Восточно-мусульманским полком СС. Татарская горно-егерская бригада! Во главе боевых групп Придон Цулукидзе, Кучук Улагай! Вардан Саркисян и Магомед Исрафилов.

– В каких званиях? – Он снова показал лицо.

– Все в званиях ваффен-штандартенфюреров! Еще была группа с Северного Кавказа... руководил черкесский князь Султан Келеч-Гирей.

– А еще ближе?

– Прибалты? Украинцы? – Латыш Вирза Янис был моим другом. С украинцем Виктором мы жили в одной комнате. Белорусский поляк Чеслав вывел меня один раз пьяного из метро. Молдованочку гимнастку Юлию, что вышла замуж за физика-поляка, нежно помню до сих пор.

И сейчас в этом отвлеченном, казалось бы, от всего близкого разговоре я выводил голых на обозрение. А сам словно бы перед ними стоял в одних черных армейских трусах.

– Откуда знаете полковника Бондаренко?

– Я ему помогал родники искать. Он мне совет дал!

– Какой? – спросила тень.

– Заняться самым главным.

– Чем именно?

– Философией силы и власти!

– А занимаетесь? Девой и Единорогом!

– Единорог... чистое воплощение силы. Его можно победить только предательством!

– Охотники сильнее?

– Сильнее всего любовь. А страшней предательство.

– Общаетесь часто?

– С Девой... с Единорогом? – Я посмел усмехнуться. – Больше с охотниками!

– С полковником Бондаренко?

– Поздравил меня открыткой. С Пасхой! Без обратного адреса. И без подписи. Я понял, что это он.

– Как?

– А кто еще... из Германии.

– Вы верующий?

– Да так... стихийно!

Он кивнул – качнулась вся тень.

– В карате сэнсэй Илларионов? – Он знал настоящую фамилию.

– Да... Ларин. – Тень еще раз склонилась: карате начинается с поклонов.

– Если что будет нужно для работы, позвоните мне. Разрешение на спецхран будет продлено. Да! – Уже вслед, когда я подошел к двери. – Знаете парадокс лжеца?

– В одном городе живут одни лжецы. И вдруг один из них говорит: я лгу! Правду он говорит или нет?

– Не бывает, чтоб в городе жили одни лжецы!

– Логически допустить можно.

– Нет города, в котором жили бы одни лжецы или одни предатели!

Я сказал про травму позвоночника и одно сотрясение.

Он с пониманием из тени будто бы с жалостью, все-таки жалко убогих. И еще раз, качнувшись тенью, отвернул лампу – стало по-житейски свободно, будто в хорошем месте легко выпил и закусил. У меня всегда было зрение, как у волка – различу звездицу на изгибе Большой Медведицы – вижу его лицо, но ничего не могу о нем сказать.

Будто бы показал себя, а оголял меня.

Совсем не тот полдневный свет на берегу, в котором невидима нагота. Постоянно опережал, ничего особенного для этого не делая, будто бы все обо мне знал. Но одетая в свет уже почти забываемая мной милая никогда не будет ему и ни кому другому видна.

Он встал и даже всем телом оказался почти незаметным на свету. Сам маленький, а уши большие – вспомнил образ. Шибздик! – чуть не ляпнул из дворового языка.

А я для него субчик!

Руки мне не подал. И я вышел, что-то важное будто бы узнавший о тайне и силе, но словно сам себя обворовал. И не хотел больше о встрече ни думать, ни вспоминать. Но она сама по-охотничьи множилась в самых разных временах и местах. Сходилось в неясную точку — то сужалась до неразличимости, то расширялась до всех возможных размеров, предела не знало — в беспредельном скрывалось неумолимое смотрение, неведомая оптика стерегущего взгляда во все стороны и со всех сторон.

О себе и о встречах начинал думать словами из легенд о *Деве* и *Единороге*.

Но мне что до них?

Я простой описатель происходящего — вижу поверхность, а глубины пусть созерцают другие. На поверхности только волны, а объяснения в глубине. Я здесь и не здесь: на границе видимого и скрытого почти неуязвим для замышляющих козни секретных служб и отделен от обывательской тупости.

То, что со мной, еще не существует, а только может быть.

Единорог же был всезнающим и бесстрашным, безошибочно распознавал врагов. Лишь *Дева* могла обмануть чудесного зверя. Грузины наряжали здорового молодца в виде девы, обливали благовониями девий наряд — место приманки всегда с подветренной стороны. Падал на колени перед обманкой могучий *Единорог*, запах чудный вдыхал, дева-подделка глаза закрывала ему рукавами платья, и зверь засыпал. Подскакивали... хватали сонного и отпиливали рог.

Измена... Коллабы!

И при чем тут случайная встреча с вокзальным *Полковником*? Открытка из Германии, разговор с человеком без лица, все обо мне знающим?

И совсем некстати — ни с того ни с сего, ни с давнего, ни с ближайшего, где вместо солнца слепящая лампа, вспомнил, как встреченная на бережочке *Нагая* переступала ножками на белом песочке — издали уменьшалась в словах, будто намеревалась скрыться и уже опробовала пятками упругость почвы. Ко всем словам, когда думал о ней, добавлялись ласкательные суффиксы: ножки, говорил, плечики, ручки.

Черные бровки от прабабушки-караимки, ушки как у эльфа.

Она давно замужем, никто ей так не говорит.

Она уже рожала... какой теперь у нее живот? А вслед по-прежнему: ручки, плечики, бровки! Животишка-живот! Лоно приласканное! Вот стоит, словно бы одетая в свет. Если бы знал тогда слова, сказал бы, что это библейская первородная нагота — о ней толковал университетский профессор, бывший красный безбожник — сказал и тут же примолк. Говорил о первых днях людей, будто все видел — так ясно, как о тех днях, когда отбывал срок. Не поверил бы, если бы не увидел *Нагую* — будто бы открылись глаза, как у Адама и Евы, когда стали друг перед другом. Но перед тобой лампа, всезнающий человек-невидимка с вопросами. И она не Ева, хотя уже родила, наверное, двух сыночков. Она давно полнотелая тетка в халате, по праздникам рыжие ботиночки-румынки на ногах, модная среди обитательниц черноземной губернии куртка-плюшка охватывает талию и топорщит по-офицерски плечи. А зимой желтый тулупчик, пошитый местным умельцем. И нагота только между минутами, когда ночная рубашка до шеи задрана в предутрии, влажная на губах.

И чем дальше, тем одежек больше, меньше наготы.

Цветы-эндемики растут только там, где растут.

14. ВСТРЕЧА-ЭКФРАЗИС

Проверка памяти? — в следующую встречу человек не скрывал лицо. Был уже почти вечер. Теперь на собеседование меня вызвали одного.

— Как Единорог? Как Дева? Охотники-коллабы? — спросил по-свойски моими словами. — Что нового накопал?

— Полк СС «Варяг» полковника Семенова, казачья группа Туркула! Когда включили в общую группу войск казачий кавалерийский корпус и создали Казачий стан, под командой Власова оказалось почти тридцать тысяч войск. Власов получил личное поздравление Гиммлера! Я фотографии видел... голландцы, бельгийцы, французские легионеры, испанцы, финские добровольцы, албанские, итальянские легионеры СС! Но не украинцы, не наши. У хохлов... соматика крестьянская! Таких почти детских тел у наших не было.

— А еще?

— Не все предатели одинаковы. Страх смерти, голод в плену, конечно! Но много таких, кем движет что-то другое. Какая-то природа... для чего *Единорог* приперся к *Деве*? Знает же, нападут из засады! Да ведь *Дева* и появилась в иконографии гораздо позже, чем *Единорог*! И хочет только его одного! Девственность вообще мало что значит в жизни, мешает воспроизводству. И *Единорог* хочет чего-то... запредельного! Какой-то, не знаю, свободы! И власть ловит таких!

— Вам дали в спецхране американский журнал. «The Next European War Will Start In The Ukraine».

— Я немецкий изучаю. Карта приложена, я посмотрел!

— Можете воспроизвести?

— Красное и черное... две половины. Зеленый клин через линию разделения — UKRAINE. На красной половине RUSSIA — *Stalin*, на черной GERMANY — *Hitler*. POLAND коричневая, со стороны Baltic Sea вкрапление черное со свастикой EAST PRUSSIA. Оранжевая ITALY, черное место в Германии, где была AUSTRIA, LATVIA уже в красном цвете. И по желтой CZECHOSLOVAKIA прямо в Украину немцы в касках шеренгами — винтовки с примкнутыми штыками на плечах, у направляющего в первой шеренге клинок в руке — черные стрелки прямо из носков сапог... вышка ретрансляции, баба-западенка с бадьей вареников встречает. И две черные змеи по бокам — из CZECHOSLOVAKIA через цвета сырого мяса HUNGARY, по желтой ROMANIA южная змея прямо в ODESSA, чтоб дальше на KHARKOV. А северная змея через POLAND на KIEV. Полоса наших укреплений навстречу... солдаты — кто с биноклем, кто к стрельбе изготовлен. А Гитлер и Сталин смотрят, что будет.

— И что?

— Ждут все! Дания, Швеция, Голландия... Польша.

— А Украина?

— Там ничего не сказано... карта американская!

— В карты играете.

— В Заполярье играл один раз... проиграл.

— А кто идет в предатели?

— Кто в плену, когда не могут терпеть... кто из раскулаченных! Но есть такие, что будто бы ждали и всегда случая ждут. И власть их подберет!

— Все равно, какая власть?

— Нет, конечно.

— Идите! Если надо будет, свяжемся! — Он уже будто приказывал мне.

— А все-таки... какие проблемы? — непонятно спросил меня вслед разговору.

— Единорога убили... Деву лишили девственности.

И нет проблем.

Потом долго меня не вызывали.

Наверное, тот, кто спрашивал, поражен был моим умением запоминать: я иногда начинал говорить, будто передо мной страница. Решил, может, что я живущий сразу

в двух мирах шизофреник. Я сам будто бы увлечен туда, где совлекались одежды. Может, потенциальный коллаб?

А думал стать простым книжным свидетелем.

Будто кто-то постоянно присматривал за мной. На военных сборах, куда время от времени я попадал, меня перевели в группу аналитиков – там я встретил бывшего сокурсника, он громил буржуазную пропаганду, но встрече обрадовался. И когда генералу-сокурснику я задал вопрос о возможности службы сотрудника одной спецслужбы в другой – присматривают друг за другом, он посоветовал мне не говорить глупости.

И при встрече поднял стакан: «Пацаны, за нас!»

15. КАРАТЕ-ДОДЗЕ В КОВЕНСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

Хитрость ворует силу у силы.

И если понять хитрость, можно понять многое.

Дзюдо для всех, карате – для избранных, айкидо – для посвященных. Но айкидо тогда будто бы вовсе не существовало. Как раз в карате много студентов из университета. Чуждая идеология, поклоны неведомому духу *камидзо*, поклоны *сэнсэю*.

Левиафан советский долго будет терпеть чужое японское присутствие?

И мы встретились – в додзе на Ковенском переулке. Совсем рядом единственный тогда в Ленинграде открытый католический храм, там маленький орган звучал великими в прошлом и настоящем распевами. Редкие католики на скамьях – за ними тоже кто-то присматривал.

Карате – для избранных. Легенды и тайны кружились вокруг карате – горшок с цветком лопался от направленного удара на расстоянии трех метров, когда мастер наносит удар.

Будущий *Президент* – ты – был таким, как все.

После пропущенного удара поклон означал признание.

Карате делало почти неуязвимым – до эпохи стрелков было еще очень далеко. В додзе появлялись известные персонажи – Миша-актер и Серж-секретарь горкома комсомола – секретаря потом застрелили, когда стал директором банка. Бывший балетный солист, что не мог жить, когда перестал летать в танце, стоял среди халдеев из ресторана «Баку», рядом фарцовщики, ювелиры и студенты.

И будущий *Президент* стоял среди всех. Мы никогда не спарринговали друг с другом.

А занимались почти одним и тем же делом.

Я своей темой о Единороге и Деве – любви, силе и предательстве, а он незаметно стоял среди всех и видел всех. Но я странно чувствовал, что он не такой, как все. Будто смотрел из некоей скрытости – не совсем из той, откуда светила в лицо лампа, но тоже не дающей взгляд, внушающей сразу недоверие и доверие.

В отделе специального хранения Публички – спецхран будто тешился над самим названием Публички и всеми, у кого не было доступа, я заказывал иностранные издания и даже книги белоэмигрантов. В книге протоирея Василия Зеньковского было написано, что Ленин – не философ. Когда я повторю слова на одном экзамене, сразу вызовут в первый отдел – поставят вопрос, но потом после разговора сразу затихнут.

А я тренировал память, думая, что меня снова позовет на разговор человек из тени. Все записи нужно было показывать суровой сотруднице спецхрана – я старался запомнить.

Пребывать на границе – при всем непонимании дел будущего *Президента* чувствовал рядом какую-то чуждость и опасность, что будто отслаивалась от его фигуры и молчания каждый раз неповторимо. И никогда не вступали в единоборство, будто

боялись открывать такое, что не видно, невидимо, тайно. А он из укромного места мог действовать наверняка.

Ипон!

Структуру сетчатки сканировать надо особой оптикой — искусственный глаз смотрит в живой. Биометрия требует, чтоб человек приложил ладонь. А там, где уже замелькали клоны, требуется учесть запах гениталий, чтоб не перепутались телами и плотью. Электронные микрочипы вмонтированы в запястье, биометрия ищет новых стратегий считывания, компьютерные даймоны не знают усталости, в архивах генной наследственности намечены потенциальные преступники.

Теперь все дело за силой.

И эту силу никто не любил — жили лучше и лучше, а недовольных, будущий *Президент* уже тогда замечал, становилось больше и больше. И ангел-наблюдатель преждем с высоты — ближних будто бы совсем не осталось. И надо всех заметить-измерить, идентифицировать — ангел расширил тезаурус. Знал новые слова — значит не отставал от жизни.

Останутся одни голые.

А без власти вообще ничего бы не было.

Меняется оптика — паноптикум веселит, в нем даже неважно, кто смотрит. То *Я* твоими глазами, то *Ты* моими. То *Я* для *Тебя* чужой *Он*, можно смотреть как на говорящую лягушонку, то *Ты* для меня существо, от всех отделенное.

Мужчины в старом правописании — *они*, а женщины — *оне*.

Самое страшное для тела удержание в неподвижности — против этого бунт, этим можно управлять и править. Вот что желанно *Левиафану*: заставить сидеть — принудить к сидению, обездвижить, вроде бы ничего не делать. Сидят потомки на своих местах, змеи укрылись в норах, слонов приручили, почти всех верблюдов и жеребцов выхолостили, котов и кобелей кастрировали.

Но амурских тигров *Президент* лично взял под охрану.

Он теперь становился охраняющей машиной: людей делал машинами, сам почти стал молотилкой. Нагая на берегу не хотела облачения ни во что — светилась, будто была в какой-то неведомой благодати. И *Президент* снова возвращался к какой-то не совсем праведной голой природе, где жестокое насилие власти, господства, злая эротика.

Будто сняли одежду света, тоже стал в удержании голым.

Но чтоб не увидели, одет теперь в жестокое одеяние властной силы. И при всей силе вырождается в говорящую, командующую, повелевающему, но все-таки конечную плоть — все больше и больше предстает в зримой для немногих наготы, хотя от взглядов отделяет стена с зубцами. Нуждался в какой-то почти неведомой благодати, даже прибежал к ней — у него был *духовник*. Первородная нагота, конечно, скрывалась одеждой — терпеть не мог распушенный галстук, бездарно скроенные постройки на космодроме — всю скособоченную телесность-предметность, а она все больше окружала и схватывала. Нечистое, проклятое, взрывающее... ошметки плоти при взрыве, тело убитого на мосту, стреляли недавно совсем рядом с Кремлем — открыто нагие знаки безобразия. Это повседневно-вселенское зло появлялось только в определенные дни и в определенных местах, но чувствовал за ним присутствие другого вселенского зла. Оно заголилось, бормотало посмертным достоевским *бобком*. Обнажалось, лезло в глаза, бесконечным казалось... гностический остаток, который никогда никуда не уходит. Надо было его тайно уничтожить, а от всех просто живущих скрывать, чтоб они могли спокойно существовать.

И снова вспомнился резидент-*Инквизитор* — вдохновитель всех на свете спецслужб.

А хотелось найти какую-то почти невозможную благодать во всем. Нагота звала к себе с берега, где на горячем песке стояла навсегда потерянная милая в полдневном свете, почти не отбрасывая тень.

Стояла перед ним, он стоял перед ней.

Ведь не стыдились первоотец Адам и первоматерь Ева, хоть оба были нагими. Нагота еще не была гнусной, сила была изначально-любовной. Похоть не приводила в движение то, без чего не продолжается род, — этим словам не поверил бы, но так бывает, сам знал из давней встречи на берегу.

Он иногда думал, что эта встреча произошла в странно случившемся раю.

Но из той властной силы, что теперь была у него, словно бы удалялась благодать — можно было жить и без нее. Природа в нагих соитиях продолжает существование. Мужчина извергнул семя, женщина приняла в детородное лоно — не нужны жадному до людских ресурсов *Левиафану* перверсии или кастрированная, как назвал *Советник*, постгенитальная сексуальность.

Продолжился бы род без насилия, но в силе.

Нет защиты — на голом заду подползал хитрый и злой лисий голод. И залиманский *Цыган* в тех местах, где на рассвете упал опылявший поля самолет, выкомаривал в пляске: «И на пузе, дядько, и на животе!» На чем угодно — только хитрость и сила, невидимое оружие.

Атомов человеческих и пустоты-наготы нигде не было видно.

16. ТЫ СРЕДИ НАС

Странно много людей было утром на Иоанновском мосту, что в Петропавловскую крепость.

Бородатые и лохматые персонажи с холстами в руках.

Стайка людей из кафе «Сайгон», слегка знакомые лица.

И Ты спокойно посреди всех.

В кожанке, в джинсах. В модных очках «Макнамара». И Твой *третий глаз* смотрел пронизывающе на всех. И друзья по университету, что тогда на мосту встретились, тоже, думаю, чувствовали взгляд. Один занимался критикой утопий с точки зрения научного коммунизма, а другой — проблемой подлинности ощущений. Моя тема про *Деву* и Единорога представала совсем несерьезной.

— Вы идите отсюда... — Ты по-доброму нам сказал.

— А что тут?

— Выставка авангардистов у стены... ее не будет.

— А ты что тут делаешь?

— Я по службе.

Ты курировал Академию художеств и университет.

В одинаковых синих трусах два взвода морячков гоняли мяч на собачьем пляже за стенами крепости. На ближних воротах стоял голкипер в редчайших для всего флота белых трусах, наверно главстаршина.

И тут прямо перед нами двое в штатском под белы руки искусствоведа Аракчеева повели к машине.

— Это Репин! «Какой простор»! — кричал искусствовед.

Он нес альбом репродукций: прыжок на месте — провокация.

И в каком-то странном резком движении ты взглянул на меня.

— Как роман? Как с ней познакомился?

— А Ты откуда знаешь?

— Ты знаешь, кто она такая? — спросил, даже кожанка взбурлилась на плечах.

— Кто такая... Девушка!

– Если с ней что случится, знаешь, что с тобой будет?

– А в чем дело!

– Это внучка Генерального секретаря! Ты понял?

– Я откуда знал?

– А ты ее в тюрьму водишь!

Собачий пляж за стеной крепости – обычное место встреч.

– Здравствуйте, девушка! И скучно, и грустно... и некому руку подать. Вы филолог? Германские языки и литература! Гёльдерлин? Где опасность, там и спасение! Пойдем... с чувством неодинокства! У меня день рождения. Посидим?

– А где?

– В Трубецком бастионе... в тюрьме!

А на столе в бывшей камере чекушка водки, килька серебряная с точками кардамона и черный хлеб.

– Как необычно!

– Где опасность, там и спасение! – По второму кругу романтическая цитата-бродяжка.

И в следующую субботу медвежьей походкой на вечере прямо к университетской компании – к недавно встреченной девушке.

А там постимпрессионизм... интуитивное схватывание, экзот-телесность! Малевича «Черный квадрат» – дырка в бытии, новый взгляд на сошествие в ад! И не включиться в разговор ни одним словом – после недавних армейских сборов обценная лексика по-свойски встречается даже в дискуссии о первородном эросе.

Раздвинул страждущих в стороны.

– Давай убежим? – так сказал, как никто ей не говорил.

– Куда?

– Никуда... в ночь! – Шопенгауэр учил, что надо хотеть изо всей силы.

– Давай!

Остались с раскрытыми ртами грачи-интеллектуалы – археологи и искусствоведы, пересох разговор. Знал, что она чья-то высокая московская дочка, а я – кочегар в бойлерной Трубецкого бастиона.

И скоро начнут приглядывать.

Уже завлек ее рассказом, как бежал по лесу в змеиный праздник – ноги взлетали над клубками переплетенных змей... шип змеиный, крик звериный. Лешак по кругу поведет.

– Феномен сферы! – легко поняла подружка. – Символ совершенства в хтоническом исполнении! Завершенность... вечное возвращение!

– Не говори... – еле перехватил оставшееся после службы слово, что подходит под каждый случай, где край. – Страшное дело!

И теперь смотрю на происходящее со мной всевидящим взглядом того, кто был на мосту.

Никто так ее крепко не обнимал – теперь будто и она неслась над змеями на болоте, даже существа страшных картинок Босха, что снились ночами, трусливо отстали. И Георгий-воин на мозаике Петровских ворот безжалостно разил змия под копытами белого иноходца. А потом в тюрьме Трубецкого бастиона, где в самом конце коридора бойлерная, а посередине стоят два стражника-истукана – один вперился в глазок двери, а другой следит за ним, пара в объятии зайдет в камеру.

Четверка... чекушка, ленинградская *маленькая* на столе, половинка черного хлеба и два десятка серебряной кильки.

– Я только сухое вино!

– Киндзмараули? Любимое вино Сталина? – Больше ни одной марки сухого вина не знал... даже не совсем понимал, как вино может быть сухим.

– Это кардамон? – Показала не черные крупинки на серебристых рыбках.
 – Кардамон, кардамон! – Слово впервые услышал. – Да кто в тюрьме пьет сухое вино. Только водку!

– И мне?

– Безжалостно!

Неуместное вроде бы слово вдруг как-то странно приходится к месту. И ей стало тут уютно, даже лучше, чем дома, где полки с книгами, и занавески, и прислуга по утрам и вечерам.

В такой тюрьме хорошо!

Трубы бойлерной позванивали – мотор гнал воду, рядом Нева текла полноводно-могуче, а с виду будто бы стояла под луной без единой складочки-мысли. Как раз разводили мосты, корабли подтягивались к городу из залива. Теплая водка через мгновение после глотка зажгла нутро, еще ни разу так не любившее тело вдруг выплеснулось через края и стало плотью – река в каменных берегах эротически шлепнула волной от прошедшего корабля.

Оттуда донесся и пропал одинокий серебряный голос трубы.

Тихо шли железные монстры мимо крепости – бревна уложены в удержании, натянута канаты и крепежи. Светилась рубка, лоцман молча курил, у мостов скапливались опоздавшие машины и люди, одни любовались, другие зевали и мерзли. А полушубок, брошенный на панцирную сетку, пару вознес над всеми болотными существами, над хлябью, над перспективами картин и проспектов.

И когда снова появились слова, чтоб вернуть из побега-полета, захотел рассказать ей о том, что было на мосту.

Аракчеева из-за медведей Шишкина арестовали.

А она стала называть по памяти картины, простые, чтоб он вспоминал – репродукции видел в детстве на картонках, где прикреплен отрывной календарь.

Сладко в объятиях заснули.

А Ты среди всех – в кожанке, джинсах и очках «Макнамара» остался невидим и неназван.

Неразличен и необозначен.

Да Тебе пока и места своего почти нет, только мелькаешь – посредствуй на мосту в потертых джинсах и кожанке, обличьем между поэтом из кафе «Сайгон» и потомком чекистов. Чем занимаешься? Главное, чтоб не занялся мной – не пустует камера тюрьмы Трубецкого бастиона по вечерам и ночам, скрипит панцирная сетка под молодыми любовниками, неважно, что девушка из кремлевской семьи, а партнер-аспирант из почти неведомых ей мест. При них внутри тюремного двора бывший сиделец-анархист князь Кропоткин с одними и теми же строчками на дощечке, что на стене тюремной бани: ходил, ходил и ходил по кругу на прогулке. Один раз залетел воробей, и это было событие – ласковое удержание на целый семестр. Не сближайся с бессознательным у Фрейда, не якшайся с волей к власти у Ницше, не ставь свободу впереди всего, как у Бердяева из спецхрана.

В объятиях на панцирной сетке совсем другое.

Вот наблюдение из прошлого, уловленного не третьим глазом, а простым повествованием. И мост, на котором мы встретились, в две стороны – отсюда назад и отсюда – вперед.

И я Тебя, кажется, так же вижу, как Ты насквозь будто бы видел меня.

Ведь есть точка, из которой видно все остальное. Из повседневности, из дождя, из полдневных теней подступали совсем другие нервно-трезвые и слегка хмельные любовные персонажи.

В тюрьме Трубецкого бастиона, демонстрируя технику, нанес маваша-гери дзедан – боковой сметающий удар по верхнему уровню – бесконтактное карате требует предельной точности. Не рассчитал – слетела голова стражника со штыря, покати́лась башка башкой по каменным плитам.

Тюремщина, казенщина.

Не разбилась – снова на штырь.

17. ГДЕ ТРЕТИЙ РИМ?

Мог ли Пушкин заплатить долги? – почти сто тридцать пять тысяч, цифра огромная. Если бы дуэль закончилась по-другому, сослали бы в деревню, спокойно бы сочинял – зарабатывал и отдавал. А Владимир Соловьев – не тот, что всех умней на экране каждый вечер, а философ написал, что лучше было Пушкину на дуэли погибнуть, чем человека убить. Гений и злодейство несовместны, как известно, вещи.

Я слушал интеллигентов на позавчерашней встрече в библиотеке – хотели свободы, денег и удержания всех прочих в своих словах. Бегуны и дырники – одни убегали от всякой власти, другие молились в дырку, что в крыше – сквозь небо проглядывала божественная твердь.

Где будет Четвертый Рим? – никто уже не спрашивал.

А в самом Кремле как будто заиливался родник. Но каждый вторник *Президент* берет *Советника* с собой.

Несемся... сами себя несем по Москве, и я думаю, что он сейчас чувствует, чтоб порозановски угадать тему. Поток ассоциаций... разгадывайте кроссворды – советовал Фрейд. А для меня это почти погибель. И не потому, что боюсь отдаления – *Левиафан* рано или поздно всех пожирает, кроме себя самого. А потому, что бессмысленным предстает все, что я делал.

Я говорю *Президенту* только о том, что он хочет слышать. И где остаюсь сам?

А он, наверное, сам собой, только в тайне исповеди. И действительно ли? Давно никто не в силах удерживать – легко разрывает любой захват. Может, его многие тайно не любят – ведь теперь он проводит всеобщий прием удержания.

Года три назад его спросили: может, действительно он *Царь*, как считают многие.

Совершенно не удивившись вопросу, он сказал, что нет. Он может начинать и останавливать войну, а другие хотят, чтоб подчинялся их желаниям и вел войну против тех, кто им не дает тайно властвовать. Надо, значит, всех держать – если не держать, порвут плоть живую на части. Взгляд дракона любого просвечивает насквозь. И я сейчас рядом с *Президентом* почти немею.

Что рассказать такое, чтоб он вспомнил про хранимый *Партизаном* родник и *Нагую* на берегу?

Чья тень надвинулась сверху, кто подошел незаметно? В этой согнутой позе бороться почти невозможно – оставаться в ней невыносимо. Удержание души и не дает дышать. Но один принцип борьбы известен: берегись лежащего человека.

И оттуда из благодати, из премирности по осеннему голому полю, по тропке обгоняю недосыгаемо кортеж, несущийся по подмосковной дороге.

Жизнь бекова, нас гребут, а нам некого.

Президент еще видит *Нагую* на берегу? Не случайно же показывает обнаженный торс – частную жизнь, жизнь идиотуса, который для *Левиафана* неудобен и недопустим. Но так *Президент* будто бы со всеми. Чтоб видеть чудесную... нагую, одетую в свет, никому другому не видимую – пусть хоть сто ламп бьют прямо в зрачки, неведомо даже для самых обученных шпи́ков Левиафана, замененных полифокальной американской линзой.

И видна душа — разве душа, — спешит спросить Розанов, — не есть тело?

Еще сказать *Президенту*, что у древних греков не было совести? Не потому, что бессовестно утратили: совесть только с христианством — благое известие, со-весть — дефис на письме виден, в разговоре надо выделить ударением. У стоиков, что повернулись от вселенских идей к существованию, уже была своя дохристианская совесть.

Со-весть... — *Президент* чужих ударений не любит, сам бьет, где надо.

А кортеж уже в пределах Москвы... еженедельная встреча заканчивается с утра. Проспекты непомерно широкие... улицы — пустыня дороги, по бокам уступают дорогу подневольные насельники *Левиафана*.

Будто вовсе сбиты — вот потенциал для террора. Уже позавтракали или еще собираются завтракать — кто чем, кто где.

И с *Президентом* бы не прочь, да он не со всеми согласен.

Будто все сразу оголодали, впору водицей из родника да яблочком краснобоким начать серый день.

18. ТОТ, КТО ПОЦЕЛОВАЛ

Страшен голод.

Про блокаду никто никогда не напишет подлинной правды — не хватит известных слов. Кричали, слыша приближение в темноте: «Держись правой стороны».

Но страшен и заманчивый, вроде бы поддающийся говорению мир. Укротитель *Левиафана* учил: без письменности никто не может стать необычайно мудрым. Ибо для мудрых людей слова лишь позывные, которыми они именуют вещи и окликают других людей.

Слова-позывные для обозначения агентов.

А для глупцов слова — полноценные монеты, освященные авторитетами Аристотеля, или Цицерона, или Фомы, или какого-нибудь другого ученого мужа. И мной повторяемые слова сейчас истощились, как библейские коровы второго призыва: поглотили предшественниц и ничуть даже не пополнили. И я ждал, что меня отправят восвояси — так славно бы войти по деревянной лестнице в комнату на втором этаже, где сверху видны две розовые в плодах сливы.

Дождутся меня.

А *Президента* многие просто боялись, страх житейский пригибал головы. Некоторые не любили из-за того, что внушал страх — в одно мгновение благополучие могло закончиться, тогда человек оказывался среди всех прочих, над которыми он совсем недавно был почти недосыгаемо вознесен. Падал, брошенный из стойки, не мог больше подняться — ничего не оставалось от недавней власти и богатства.

А кого он боится? — каждый подвержен страху.

Но мне некуда падать, не вознесен. Я просто человек судьбы, которая так ставит даже не на правож, а на торжок, где можно купить. Будто стал разменной монетой в странном и неведомо страшном, наверное, для меня торге. Не мог поверить, хотя начинал понимать, что включен в какую-то странную игру, правила которой действуют по замыслу, который неведом мне.

Тут я почти юрод, прирученный в наших днях юрод — наверное, так обо мне думали. Номад, кочующий из столовой в библиотеку, из библиотеки в гостиницу на ночлег, раз в неделю к казенной машине.

Но даже мысли нет впасть в гордыню, только отзвук... почти карикатура, служебная ориентировка, чтоб легче было мной что-то неведомое мне самому найти. Строчки внимали происходящему — я вчитывал реалии задом наперед, но даже сам им, не

говоря уж о других, не внимал. Вокруг меня будто тут никто не верил, что человек может верить.

Врезались слова из разговоров: главное, чтобы *Президенту* верил электорат. Власть нужна народу, а не богатым. И служить надо тому, в ком сила. И будто бы эту силу можно склонить, причаровать, обрезать волосы, как Далила обкорнала доверившегося Самсона, обезвредить, так встроиться в будущее, которое уже не совсем ясно, но кем-то коварно намечено. И *Советник-юрод*, того не понимая, укажет путь — пойдет террорист террористом, шупая словцом-посошком кем-то замысленную дорогу.

Вставай, Самсон, филистимляне здесь.

Будто бы все знали, что *Свидетель* недолговечен — просто вешка на пути.

Я казенную службу никогда ведь не любил. И сразу вспомнил слова, что говорил на вокзале в Воронеже *Полковник*. А от тех слов теперь в додзе на Ковенском переулке — напротив костела, где по праздникам завлекательно звучит орган.

И человек напротив в белом кимоно с черным поясом. Строй стоит — в центре сэнсэй, сбоку сэмпай.

Сэнсэй Ларин вызвал совсем вроде бы неприметного парня.

— Выйди!

— Ос-с!

— Ката стоек!

— Ос-с!

Одна перетекала в другую, *киба-дачи* — *железный всадник* готов сражаться в две стороны, могучая *дзенкутцу-дачи* перелилась в хитрую заманивающую *кокцу-дачи*, потом сжался в пружину и выставил лапы кот — *неко-дачи* — и замер в готовности *журавль на скале*.

Тогда я еще раз увидел будущего *Президента*.

«Ос-с!», что значит «Терплю!».

Был готов к нападению с любой стороны. Каждая стойка рождалась словно бы, будто приходила ниоткуда и уходила в никуда — не слышно дыхания.

Дыхание не показывай — противник нападет в момент уязвимого вдоха.

И ни у одной стойки, казалось, не было своей собственной сущности, хотя предстала во всей определенности — проявлялось что-то могучее и постоянное. Каждый состоявшийся жест был только в том моменте, когда произошел. Но всему предшествовал невидимый глубинный настрой, которого еще не было в телесных движениях.

Надо уметь вовремя проникнуть и повелевать.

Он снял черный пояс и завязал себе глаза — похож стал, я потом пойму, на дракона из китайского моря... точно — похож на дракона, я понял, когда вместе с ним был в Китае.

Он будто все изначально знал.

В этом скрыто жестоком стоянии была какая-то собственная предуготовленность — он будто бы знал, что в каждой стойке на него нападут. Совсем рядом где-то притаилась и ждала своего мига смерть с пустыми руками.

Тогда он не сказал ни слова, его не назвали по имени. Это было очень давно. И он меня не помнит. А я помню и вижу *Президента* каждую неделю перед собой, а в другие вечера на экране. Но не понимаю теперь, в какой стойке он утверждает себя сейчас.

Может, стойка без правила?

Перетекание, чтоб никогда не попасть в удержание, непредсказуемость, неопределенность. Стойка — намек на демократию, каждый может так стоять, верить в неуязвимость, быть равным среди многих, застывающих в стойках. Но после разгула демократии, как известно, всегда приходит *Тиран*. Или он уже здесь? Демократия нравится всем, кому нравится пестрое.

Больше в зале-додзе исполнитель ката стоек ни разу не появился. Никто о нем не спрашивал, никто и не вспоминал.

А я вспомнил только тогда, когда узнал исполнителя ката.

Узнавание пришло на голубиных лапках, тихо и неприметно.

Это *Президент*.

И я почему-то ясно понимал, что не надо признаваться, что я его давно знаю.

19. ТУТ ВАМ – НИГДЕ

Знакомое всем, кто стоял в строю, выражение.

В армейских снах я выходил за ворота военного городка в Пушкине и кричал. А после выстрела пушки на полигоне Струги Красные песок так секанул по лицу, будто ударной волной мне перевернуло глаза.

Теперь нет холодной палатки, двенадцати человек, спящих рядом, в соседней палатке сжался под одеялом будущий генерал-полковник спецслужб. Это у него я спросил, может ли сотрудник одной службы быть внедрен в другую систему и действовать из самой нутри – следить. Он посмотрел на меня и головой покачал.

– Ты у меня не спрашивал! И ни у кого не спрашивай!

– Понял.

Но открываю папки словесные.

Кто тот *Полковник* на воронежском вокзале, которому я написал на первом курсе университета два письма? И меня сразу перевели с отделения ствольной артиллерии на военной кафедре на специальность «спецпропаганда». А там лекции о происках и провокациях, но никто ни о чем прочем у меня не спрашивал.

Меня как будто бы потеряли, забыли, вывели за штат как расстригу.

Мне не пришлось выходить из партии, я в ней не состоял.

Но теперь уже стала интересна странная игра, в которую я против своей воли включен. Я будто бы, теперь понимаю, был изначально отдан какой-то неведомой мне игре, вялотекущей шизофрении, реальному беспамятству. Это больше всего того, что существовало вокруг, это нельзя было представить: ответ нельзя было дать потому, что непонятен вопрос. Я будто бы был все время должен что-то отдать, хотя прямо и явно никто ничего не требовал. И сейчас дошло до предела: чтоб стало понятней, надо было еще больше отдать, а я не понимал, кому и какая дань мной должна быть принесена. Не было слов, обозначений и понятий, хотя все сказанное по-розановски или по-кафкиански было передо мной – не знал, на каком языке должен был выразить то, чего сам не понимал.

Меня сейчас кормили, обо мне заботились, снабжали книгами, переводчик по первому требованию приходил, попугай-толмач на жердочке прирученно рядом. Невидимое и скрытое само собой приближалось – пики охотников на *Единорога* торчали из-за укрытия. Но кому и зачем нападать на меня?

Я не могучий *Единорог*.

Я лишь свидетель.

Но невидимое не выводилось на свет, хоть всегда помнил *Полковника* на воронежском вокзале, который показал, что есть тайная могучая сила. Вспоминал встречи в додзе на Ковенском переулке с будущим *Президентом* – он сейчас не узнавал меня, будто тоже был включен в игру с непонятным и тайным могучим присутствием.

Как возможен переход невидимого и непонятного в видимое и ясное?

И словно бы меня готовили, ни на что другое не отвлекая, чтоб рано или поздно различил намеки и проблески.

Удержание невыносимое, против которого бороться, не уступая ни мига, — вот что неназванным выныривало из моего смятения. Как раз то, что было почти невидимым, выпирало на передний план. Так, сейчас подумал, желание из тьмы и сумерек напирает на выражение лиц. Серое и сумеречное, невиданное, неназываемое теперь давило и удерживало. И этим давящим существом для самого становился я сам, а источник в сумерках и тьме был мне невидим. Но зато теперь начинал видеть непонятный замысел — выросал из ранее незамечаемых деталей, из мелькнувших рядом разговоров, даже из всего того, что легко или тяжело совершалось и что, как я раньше думал, было моим собственным делом. Я будто бы весь обратился в прошлое — туда смотрел, вслушивался, заново сопоставлял и складывал. Что-то грандиозное — совсем не для меня, почти непонятно-страшное выплывало оттуда. И теперь даже апокалиптические образы, приближенные и оживленные в своем времени Розановым, были не так ужасны. Тут не одна сгоревшая, как и все другие на свете, жизнь: «Каждый человек заслуживает только жалости». А в том, что накатывало, представало совсем другое, почти нечеловеческое... местами и временами — бесчеловечное, втягивавшее в неведомый морок замыслов, человеческих по сути, но существующих будто только в языке — в повелительном причастии будущего. Такой творящий непонятно жест-герундий, все собой преодолевающий во всем, что людьми сейчас задумано.

И я будто был призван не для того, чтобы эту данность признать — она есть, а чтоб сопротивляться неведомым замыслам, где вымывается и выbleднует существование. Придумывая приемы, броски, уходы от атаки, совершая ложные движения перед собственным рывком — таи-сабаки... обманный жест, готовя единственный удар — иппон, не показывая дыхания, не смотря противнику в глаза, чтоб он не поймал взглядом.

Кто первым сказал мне, чтоб я стал описывать любовь и смерть — коварство и предательство?

Уже случайно встреченный и не оставляющий меня без внимания *Полковник* на вокзале будто бы об этом замысле уже знал. И в повелении-герундии я больше не понимал, где существую и как могу существовать. Денежные поступления на карту приходили каждую неделю перед очередной встречей с *Президентом*, но я готов все в один миг потерять и вернуться в дом, из окна которого видна старая верная слива. Я выбелил ее шершавый ствол в апреле, трещины залепил воском — подарок от пчел, что прилетят в мае.

Конец света неведом, а о вселенской пандемии еще никто ничего не знал, думали, что все такое уже в далеком прошлом. Теперь встреча на вокзале с *Полковником* и его помощь, и сила в его действиях, и беседа с человеком, что предлагал службу, когда лампа скрывала его и освещала меня, и даже мой отказ, все последующие удачи, которые я приписывал себе, даже заказ написать книгу о Розанове стали мне казаться звеньями какой-то одной цепи. И мужик, что голым задом перся в раковину для мытья рук, и сержант, что тыкал пальцами людям в глаза, даже чувствующий ужас младенец на руках у его жены-учительницы — все стало сходиться в одной неясной, вполне явленной картине. Но у нее не было глубины, я не понимал, что происходит, лучше сказать — не понимал того, что когда-то уже произошло и только теперь показывает себя в обрывках.

Кафкианские сюжеты и жесты? — чужие слова ничего не объясняли.

20. БИОВЛАСТЬ НАД ВСЕМИ

У богатых есть мобильность: всегда могут уехать, переменить участь, получить двойное гражданство. А у бедных есть место, пока богатые не доберутся до него. Еще

раньше сказал Розанов, литература, помогает обрести *место* («нашли свое место в мире», «*civis rossicus* (русский гражданин»)). И на главный вопрос Розанов ответ дал: «Наша русская философия — вся философия выпоротого человека». И спасение только в уместности, беспорывная природа Восточно-Европейской равнины.

Вздых... Бог не может не отозваться на вздох.

Тут множество зеркал, люди власти без отражений не могут. И желательно в полный рост, благородно, с поднятым припудренным, чтоб не блестела морда, лицом. Сегодня уже не толкуют об истине, как будто ее вовсе нет. Говорят о том, как можно об истине говорить.

Почему на свете всего так много? По красоте «возникнуть» и по необходимости «заботы». Потому что Бог, а не тьма. Если бы тьма, в ней был бы Дьявол и мир был бы дьявольский.

Что же такое *Дьявол*?

Осталось для ответа двадцать две минуты дороги. У меня чутье появилось — чувство времени, словно перед глазами циферблат — всегда у циферблата морда, а не лицо.

Ограничение, недостаток; не хватает. И дела его таковы: у Иова отнял богатство, отнял детей, отнял здоровье.

Не отнял жены и друзей.

А Розанов сто три года назад как раз про то, что мир сотворен для тепла и любви. Сперва обоняние было, потом уж появилась пахучесть — вот в чем разгадка. Сначала душа, а потом уж одушевленный мир. Сперва нагота, потом уж одежды. Любовность, рассеянная во всем, потом уж любота. И нет никакой бесконечности, при которой не кончается счет: как может что-нибудь не кончаться? Не безличное, а личное бытие всему предшествует. Что из всех вещей, забот было сотворено раньше остального? — Розанов лбом ткнул в отражение на зеркале — целуй ближайшее.

Лизанье прежде всего.

Бог лижет человека.

А отец и мать лижут детей. Для того рождаются дети, для этого мир сотворен. Он сотворен для тепла и любви. Но в том-то и загадка, сокрушался Розанов, что прежде всего сотворенное — из всех вещей, из всех забот — существует невоспринятым и непоименованным.

Осталось восемнадцать минут дороги.

Да может ли быть милый и теплый мир? Не может, а война потому, что милое стремится к признанию. Вечный мир, писал Кант, невозможен. Идеологии, цивилизации — отвлечение, создание морока, соблазн.

Может быть, если бы все справедливо в мире — не пришел бы и наш Христос?

И Ленин бы не пришел, и Сталин, и Горбачев, и Ельцин? И *Президент* не смотрел бы на меня — разговорчивую лягушку словесную, ценно в ней не то, что может обернуться прекрасной царевной — она *Президенту*-царевичу не очень нужна, а то, что она может говорить. А Розанов уж к Аристотелю — двенадцать минут дороги осталось, именно к термину энтелехия, скорей-скорей... дромос-дорога, дромология — наука о скоростях, энтелехиальное объяснение *предшествования* для человека.

Где сосательный рефлекс страстного в желании *Единорога*?

Бога нигде нет потому, что он во всем.

И смотреть пристально — почти по-стариковски, не отворачивать взгляда, даже самого себя превращая иногда в соглядатая? Таково дело свидетельского ума? — а знаю же, что свидетеля всегда устраниют.

— Где же тогда истина?

— В полноте всех мыслей. Разом. Со страхом выбрать одну. *В колебании.*

(Но *Президент*, кажется, никогда не колеблется.)

— Неужели же *колебание* принцип?

— Первый в жизни. Единственный, который тверд. Тот, которым цветет всё и все — живет. Наступи-ка устойчивость — и мир закаменел бы, заledenел

У Розанов *колебания... мерцания — агон* буйствует, спор. Точка зрения из какого-то не видимого никому бытия. Пальцем не показать, в зеркалах не отразится. Но у него ранняя диагностика — войны, расы сражаются, гонения из-за веры, кровь.

Даже в мелькании показать произрастание смысла — так старик *Партизан* в Райском лесу спасал родники. Тут экономика, охрана, забота, сам Господь есть первый эконом. Нужно все ветхое перелицевать, поправить — жизнь есть дом, а дом должен быть теплый, удобен и кругл.

Понять, говорю в последние пять минут дороги, мысль Розанова в ее самости, если угодно, непереводаемости, уместности и укорененности. Даже в повсеместности и всевременности. Вот тогда можно отнестись не только как к мыслителю *прошлого*, но как к мыслителю *настоящего*. Взглянуть не только во времени прошлого, настоящего и будущего, но найти уместную точку встречи — то *место мест*, что ускользает из всех зеркал.

Там есть система, что так привлекала *Президента*?

Там есть большее, чем система. Порядок только там, где есть тот, кто может отдавать приказ воевать пушками.

Еще три минуты дороги — мысль Кьеркегора обращена к отчаянию и вере, мысль Хайдеггера внедрена во вздымающиеся горы Энгадина, мысль Ницше болезненно-трагически вписана в жизнь. *Мужик Марей* Достоевского всегда будет смотреть вслед — в опыт каторги, в болезнь и веру. Женитьба Розанова на Аполлинарии Сусловой тоже стремление вслед, настигнуть то, что пережила женщина с другим, хотя бы во сне побывать там, умащаясь хоть в лоне.

А я здесь и никуда не стремлюсь.

Призрак при зраке, ангажирован и оплачен. Странно в словах сближается оплаченность с плачем. Скажу, что в Костроме, где Розанов родился, надо совершить прогулку по Волге. Тихо природный образ погружает в естество берегущей вдумчивости: чем дальше от города, тем ближе земля просто приникает к воде.

Президент взглянул... хочет посетить Кострому? Страхи для губернатора, паника для чиновников.

Как можно вырасти на асфальте и стать верующим? — у каждой твари свой путь к вере. Правда ли, что гений всегда религиозен? Да есть ли сегодня *герой*? Происходит утрата энергетики существования. И я послан, чтоб лишить силы того, у кого она еще есть. Но кто меня послал?

А *Президент* возвратил Крым.

21. ПРАВИТЬ СЕЙЧАС

Президент в молодости похож был на молодого волка, теперь все больше становился похож на собственные портреты. И я со своими словами о Розанове казался, наверное, устаревшим, хотя Розанов был пока включен во все разговоры. Говорил дочке, пока горит свечечка, напишем, Таня, еще на рублик! И *Президент* под своими в ста миллионами свеч просвечивал любое нутро взглядом *Левиафана*, как на очной ставке, где каждый из двух возможных предатель или коллаб.

И если рублик для жизни вдруг мне не перепадет? — не страшно. Пора, думаю, закрывая словесные файлы и шлюзы, снова вернуться в места между Пушкиным и Набоковым — между деревней Выра, откуда отправился на поиски Дунечки верящий в божественную правду и левиафанский имперский порядок станционный смотритель Сам-

сон Вырин, и Рождественном, где в пятнах речка Грязна вливается в светлый господин Оредеж. Набоков называл в женском варианте — Оредежь с мягким знаком. На могиле Набокова в швейцарском Монтре авторучками выложен православный крест, я поправил наверхие.

А прав тот, кто действует.

Мы шли тогда с тренировки, навстречу в свой храм верующие католики, даже странно было, что еще есть так тихо-набожно. Голов не поднимали, будто смирились и всегда правы. Но с левого бока — каратека всегда видит четыре опасные зоны перед собой, торговцы с Некрасовского рынка. У них деньги, у нас нет, но еще было какое-то братское отношение, как к младшим братьям. Спортивная сумка у меня в руках, мокрое кимоно-каратега внутри, чувство какой-то своей будто бы избранности.

И легкой силы.

Толкнули в плечо, что-то сказали. Я не видел первого мига столкновения.

И недавний совсем незаметный в зале человек, ни с кем из нас особенно не сближавшийся, вдруг предстал в яром облике.

— Спину... сзади смотри! — бросил мне.

— Ос-с!

В одну сторону тоби-еко прыжок с ударом, в другую — отвлекающий рикен-учи в голову и мощный проникающий гяку-цуки в корпус — именно в это время самое уязвимое место — солнечное сплетение. Удары контролировались, он не доводил до полного контакта, но от этого тем, кто это ощущал, было, наверное, еще страшней. Взлетел боковой удар маваши-гери по верхнему уровню, где движение остановлено у самого виска. И третий из недавно агрессивных встречных рванул с криком в сторону фонаря.

Улица Восстания не заметила мелких восстаний.

И дальше пойти — раствориться, чтоб не быть на виду. Лучший поединок тот, в который не вступил. Но тот, кто недавно просил закрыть со спины, вдруг снова кинулся в проем арки. Там женщина кричала в голос, человек перед ней... по щекам, по губам, по глазам — ее лицо не видно. Самое уязвимое глаза, треугольник над верхней губой. И тот, кто бил женщину, мгновенно был снесен прямым мая-гери, ударился в падении о стену, руки поднял перед собой, будто не понял, что произошло. Я вспомнил старшего сержанта на вокзале в Воронеже, что в ярости выставил пальцы против чужих глаз. Одним словом его тогда остановил *Полковник* — невидимой силой.

А женщины закричала, что это ее муж, у них свои дела, посторонним не вмешиваться! И муж поднимался, будто силы от женского крика набрал.

Дружинники схватили нас обоих.

Он показал им удостоверение. И они сразу отстали.

— А что ты сказал?

— Кому? — Он будто уже забыл, лицо спокойно.

— Тому, что женщину бил.

— Даже если это твоя жена... бей ее дома! А лучше мирно!

— А им что показал?

— Комсомольский билет!

И мы еще двадцать шагов прошли рядом, каждый сам по себе.

— Первый удар не приносит блага?

— Если драка неизбежна, бей первым.

Управляемый режим.

Не об этом же напоминать — *Президент*, наверное, о том случае в подворотне пожалел сто раз. А если тогда совсем было не так?

И хоть мир дробился на части, везде одинакова власть — латыш Янис Вирза читал вслух в ленинской комнате: поплыли герой с героиней любовно по реке Зальупе.

Замполит уперся взглядами в назначенного чтеца... совсем ефрейтор оборзел?

Будто бы в существовании неустранимы особые точки — сбоя, измены, предательства, злой корыстной охоты, где объяснения терпят всегдашнее поражение. И дело не в том, что они есть, а в том, что теперь это начинает править: *Левиафан* бессилён. Но это лишь новое удержание... давка, житейский домовый давит. Надо найти такой ход, чтоб эти разрозненные детали стали действовать в одной машине — пусть не понимают насельники, что они все связаны, им не нужно понимать, главное, чтоб действовали — будто бы по своей воле, а на самом деле схвачены в одном неразличимом для них удержании. Ведь к людской природе, гораздо более незамысловатой, чем это может казаться в каком-то отдельном времени, примешиваются особое вещество невозможного — субстрат несуществования и небыли, модусы изначальной субстанции морока и мрака, к темноте примешивается весь бесноватый полуденный мир, где равновесие предмета и его тени завораживает и усыпляет.

Тогда и рождаются люди-монстры, диковинные звери, словно бы дети богов и обыкновеннейших в неразумных страстях смертных женщин — их праправнуки нынешние существа-киборги.

Кто-то невидимый постоянно завлекал и будто бы направлял меня. И я вместе с ним видел не всем видимое левиафанное поражение.

И выходило, что измена *Левиафану*, террор против его обитателей и предательства теперь будут всегда. Тем более что нет точного определения коллаборационизма, нет точного определения наркотика, нет, наверно, вечной истины.

22. ЕДИНОРОГ И ДВЕ АННЫ

Схоронились в темных кустах притихшие до времени существа.

Совсем голая жизнь.

Начинается любовно — кончается смертно. И тот, кто должен управлять целым народом, должен постичь в самом себе не того или другого отдельного человека, а весь человеческий род.

И только одна человеческая игра до сих пор остается необъясненной — жестокая игра любовной страсти, измены и смерти, сошедшихся в одном месте не случаем, а странной, может, божественной необходимостью. Современной ничтожности смысл игры вовсе стал недоступен, о нем перестали уж спрашивать. В *Единорога* давно никто не верит, а девственность стала неустойчивым фактом подростковой неустойчивой физиологии. Первоцветок девственности сам по себе перестал быть тайной, правда, в Москве полнотелая белорыбица создала общество девственниц — вчера прочитал о них в библиотеке Думы, их на всю Москву уже двенадцать. И с украшением на шею из розовых звеньев пояса верности основательница сообщала, что она внучка самого Маяковского.

А в царстве *Левиафана* девственность, как и все остальное, на своем месте.

Современник цветок срывает, чтоб показать что-то другое. То злобного насильника создает автор, то сребролюбивую сводню, то случаем и разговором между своими напомним о воспроизводстве дикорастущих цветков: в Тбилиси доктор один... сам педераст. Целки вшивает... ара проблем!

А *Единорог* подружия не имать, живет пять сотен, три десятка и два лета, не боится ни близко шастающей смерти, ни противников, неуловим и неуязвим ни для одной охоты — спецслужбы, не подпустит на бросок копья охотника. И уж тем более не боится *Единорог* того, что кем-то о нем написано.

Но ведь и у *Президента* нет пары. Неужели он подобен *Единорогу*?

Умирает *Единорог* от своей собственной смерти — смерть его собственность, как и жизнь. Ничто не способно сделать его зависимым, страх он презирает, высот не боится, не боится ни предательства, ни измены.

Живет один в некоем чистом существовании — вот почему его так тянет к *Девственнице*, она для него собственное подобие, в ней уже все и для всего есть, и она еще ни в чем не нуждается. Любая встреча губит и разрушает, она никогда больше к собственной чистоте не вернется и потому так привязана к тому, кто обязательно встретится первым.

И *Президент* ни в чем не нуждается, кроме любовности.

И помнит нежно и незабвенно ту, что стояла нагой на берегу, когда я, охотничая, подкрался к ней, одет в ее собственное платье.

И кто придет на смену *Президенту-Единорогу*?

Единорог порождает червя — от него рождается юный *Единорожек*. Старый зверь без рога бывает не силен, сиротеет... слабеет, скоро умрет.

Так вот для чего я понадобился ловитве: ослабить могучего *Единорога*!

Лишить его наружной и внутренней силы, ослабить мысли, ввергнуть в сомнения. Меня подставили — усадили вместо *Девы*, угнездили с подветренной стороны... какой ветер обрушился сейчас на Москву, деревья падают, вминаются крыши автомобилей, взлетают и рассыпаются торговые точки. Приваживают меня, прикармливают — из словесного веретенца, которым речи плету, копыце делают с отравленным острием.

Для опыта подхожу, меня не жалко принести в жертву.

Вот встроен еще в одну встречу. Сотрудница, что через день приходит убирать в моей казенной квартире, вчера сказала: «Хотите, я останусь?» Но *Свидетелю* стареющему общаться можно с женщинами, которым не больше двадцати семи лет.

— А сколько вам лет?

— Двадцать восемь. Я прочитала повесть о *Единороге* и *Деве*.

— Вас любят?

— Меня давно даже никто не брал за руку.

— Анна... самое красивое женское имя!

— Вы правда так думаете? — Она будто только сейчас поняла, что я человек, а не персонаж охоты, за которым поручено присматривать.

И один раз, когда она уже стояла у двери, я обнял ее за плечи. Она, минуту будто бы соглашаясь, одним движением свела мои руки вниз — мгновенно выпрямилась, ее волосы коснулись мои губ. И отклонилась назад: датский поцелуй — удар в переносицу?

Но вдруг поцеловала меня в лоб, малого-неразумного.

— Как вас по отчеству?

— У нас все просто по именам. Анна!

— Имя... вымя, племя, стремя! А различают по размеру груди?

Ее колено мягко и точно приблизилось к моему паху.

— Дорогой мой! — ласковым казенным тоном. — Мы с вами оба на службе!

— Обои... Цветочки!

— Цветочки! — покивала на стены. — Анна ведь самое красивое женское имя?

— Это откуда?

— Я прочитала роман, где так написано.

— И кто автор?

— Кто-то из Петербурга!

— А вы замужем?

— Вот это дело совсем не ваше!

Я лоб наклонил, но она меня больше не поцеловала.

Вдруг вышла через минуту из ванной комнаты совершенно голый.

— Видишь?

— Что?

— Вот это! — Она опустила руки и показала вытертые следы сзади на округлостях. — Я органистка, это от занятий и игры. Орган-любовник!

И повернулась лицом, совершенно меня не стесняясь. Да ведь *Дева* и не стесняется, грудь открывает нецелованную, чтоб припал *Единорог*.

А на следующей неделе другая Анна пришла — мне уже стало не хватать ее исчезнувшей предшественницы, сразу сказала, что органисток терпеть не может. И когда я назвал ее девушкой, сразу в ответ: «Я не девушка, я альтистка!» И ни с того ни с сего, когда я сказал, чувствуя стыд от повторения, что Анна самое красивое женское имя, стала рассказывать, что ее в тринадцать лет приневолил дирижер камерного оркестра, у нее тогда еще и груди не было. Посадил на колени, потом наклонил к себе. И продолжалось полгода... она плакала: почему это со мной происходит? И мама ходила к нему выяснять, это прекратилось на время, а потом Аня снова ходила к нему в репетиционный зал, когда после репетиций там никого уже не было. Еще был араб, папа ее подружки, она положила руку ему на колено, мужик вывез ее на берег Двины, а когда она шла домой, кровь подтекала, и она боялась, что все увидят. В аптеке купила мазь, там заинтересовались, зачем девочке взрослое средство. Но она никого не посадила, говорила сейчас, я не знал, что ответить, хотя назвал негодяями режиссера и араба. А уже потом она сама выбрала друга своего папы-энергетика, поехала на велосипеде к нему в гараж, на медвежьей шкуре он лишил ее девственности, она ему благодарна за то, что был внимательным и даже, наверное, нежным. Потом его осудили за бытовое убийство на восемь лет, он из тюрьмы передавал ей приветы. А после встречи на шкуре сказала подружке-виолончелистке, когда та спросила, почему она так сияет, что час назад лишилась девственности. А потом было много других, она сама напрашивалась в гости, один раз под Новый год ее побили из ревности две девицы, зазвали за угол, а когда присела, одна схватила сзади за голову, а другая достала ножик. Она вырвалась, лицо разбито, позвонила знакомому мужику, который гладил ее колени в самолете, когда мама отлучалась. Он позвал в гости, а потом неожиданно вернулись его жена и дочь, увидели, что в постели голая девица моложе дочери, схватили ее одежду и ботинки, вытолкали на лестницу и бросили ей в лицо. И мужика вытолкали вслед, он позвонил своему приятелю, она с новогодним любовником поехала на дачу, где зависали три дня. А потом был еще физик-теоретик, ей нравилось, что он такой умный и с огромными руками, на фотографии дотягивался до ее груди из ванны, когда она снимала себя и его. Потом был шеф-повар, совсем недавно они отметили десятилетие узбекским пловом. А потом училась в знаменитой музыкальной школе, ей понравился учитель истории, она подошла в перерыве и сказала, что он ей приснился. И утрами приезжала к нему, когда жены и детей уже не было дома, после объятий он ее, почти всегда голодную в интернатской жизни, кормил. Водил по городу и многому научил. Она завела красную книжечку, куда заносила имена и музыкальные специальности любовников. Всех делила на друзей, потом на тех, кто был похож на жеребца, восемь раз у нее были настоящие любви, когда бежала на встречи. Психолог, у которого хотела узнать про себя, сказал, что у нее маниакально-депрессивный психоз, уныние и чувство безнадежности сменяется полетом восторга, потом снова впадение в депрессию. После сеанса терапии склонил ее голову к своим коленям, она уже привыкла. А другой психолог сказал ей, что у нее просто повышенное влечение и лучше всего его не сдерживать, иначе будет еще нестерпимей. Так бывало, что прижималась низом живота даже к углу стола! Выписала строчки из книжки маркиза де Сада о том, что не нужно ни на кого обращать внимания и жить так, как хочется. Даже, ска-

зав встречному о том, как ей неудобно, спрашивала, можно ли перед тем, как они навсегда расстанутся, сделать одну вещь. И всегда получая согласие, обнимала и впивалась в губы, а в ответ впивались в нее. И говорила, что страдает: не родилась мужчиной! У нее тогда были бы большие руки — удобно ставить пальцы на струны альта во всех позициях — и огромный, само собой, детородный орган, отсутствие которого доктор Фройд ошибочно полагал источником невроза всех дочерей Евы.

Не знаю, зачем она мне это рассказывала.

А она помнила все телесные жесты, один раз человек сказал ей, что хотел остаться в ней и чтоб она его родила.

В красной книжке было уже почти семьдесят посетителей ее тела, и когда врач-гинеколог узнала, то назвала хулиганкой. А уже перед отъездом она зашла попрощаться к своему учителю-шефу, уходя, поцеловала его в шею, он потом сказал, что у него ничего подобного давно не было. И у меня давно такого не было, и это еще повторится! — она в восторге ответила. Будто бы и не хотела так, само сказалось. И в следующую встречу, когда пришла за сумкой, которую на время оставила у него, никого дома не было. Впервые за многие годы, она раньше часто приходила к нему заниматься домой, он повел ее в спальню, усадил на кровать, совсем случайно положил руку на колено и извинился. Да ничего страшного! А потом стал говорить, какие у нее красивые губы, какая женственная фигура, он хочет поцеловать ее всю! Я была в шоке... часы на стене показали сорок минут времени, когда он целовал — запомнила. А потом она его везде целовала, потом было то, о чем она подумала при первой встрече, когда он прослушал ее игру и взял в ученицы. Когда-нибудь он будет моим, тогда сказала жадными молодыми словами.

Бывает и по две встречи в день? Бывает и по три... зачем сдерживать природные чувства?

Но сейчас у нее был спокойный период, сосед-альтист из оркестра обаял ее обликом и молчаливостью. Мечтала, чтоб случилось, и по дороге на гастроли в Елабугу зашла к нему в купе и легла рядом. Теперь он стал главным партнером, после двух лет мучительных отношений наконец они объяснились в любви. И потом полтора месяца жили вместе... ей даже не хотелось никуда в гости, так называла свои выходы в эротический свет, но вернулась жена альтиста. Квартира была ее, она потом ходила на концерты, из первых рядов сверлила Анну ненавидящим взглядом. И Анна ушла, говоря, что не вернется, но все продолжается, и эти двое только и ждут совместных гастролей, когда они все ночи проведут в его номере. Он был ее совершенным подобием, они иногда даже говорили одними и теми же матерными словами, так она сказала, общаются все выпускники оркестрового факультета.

Но ему шептала на ухо уменьшенное ласково имя, в оркестре все знали, даже дирижер, увидев их утром рядом, сказал, что не знал, что альтисты всегда по утрам ходят парой.

— А сейчас кто-то есть?

— Всегда кто-то есть.

— Роман?

— Это даже не отношения! Роман — это когда двое любят и все принимают!

— А желанный альтист?

— Это тоже несущественно.

— А что существует?

— Я все равно уеду... Меня тут просто учили играть, я сама всего добилась. А теперь даже не могу прожить на деньги, что платят в оркестре. И меня там ждут. Я влюбилась в скрипача из Норвегии, когда мне было пятнадцать лет. Он приехал на гастроли,

я приходила к нему в гостиницу. А когда уехал, я опрокинулась в сугроб, бросил меня одну в этом городе. Мне казалось, я больше никому не нужна, и ему в том числе. Он меня не бросил, не бросил! Я плакала в сугробе, скрипачка Таня меня утешала, она даже прогуляла урок. Еще неделю плакала, мне было пятнадцать лет. И это было единственное настоящее, существующее, понятно? И альтист-сосед тоже не существует! Как только откроют границы, сразу уеду по невестинной визе!

— А где Ты сейчас? — Я вдруг стал говорить ей Ты, в строчке надо выделить заглавной буквой.

— Я есть где-то там... Седьмая симфония Бетховена, вторая часть. Шуман: «Любовь поэта». Злые, злые песни. А теперь еще Прокофьев... А тогда из сугроба я все-таки явилась на урок. И плакала, концерт Мендельсона вызывал слезы. Прямо на партитуру слезы лила, мы по партитурам учились, не могла сдержаться. И меня учительница отправила в интернат спать и плакать не при всех. Ты послушай, послушай... — она тоже стала говорить мне *ты*, — эти злые песни!

— А все-таки что остается? Память плоти, ласковые слова, переживание растворения? Или даже чувство исчезновения?

— Расставанья — маленькая смерть! — Она продолжила строчкой.

Эта Анна была совсем другим женским существом, будто уже почти каждый настырный из стаи охотников в свой час ею обладал, точнее, наверное, сказать, что она обладала всеми охотниками. *Нагая* на берегу была *Девой* до всех встреч, а это была *Дева* всех встреч. Плавные бедра будто уже не один раз раздавались при родах, нежная полная покатошь под виднеющимися ребрами на боках. Теперь я понял, что она такой уже была всегда — самец-дирижер, а вслед ему животник-араб, что вывез ее на берег, увидели эту округлость, да она ее не скрывала, даже гордилась.

А я совсем не опасен, уступлю в поединке многим из охотничьей стаи, что выставили фаллические символы пик в недалеком укрытии. Анна-альтистка сама стала охотником, выходила навстречу и могла природно и даже без ласковых слов обрататать каждого. И каждого нового любовника предупреждала: про любовь не говорить, замуж не звать, детей не просить. А мне сейчас просто перестилает казенную постель.

Так зарабатывает на жизнь, ведь служба артиста не кормит.

Но ведь повесть о *Деве* и *Единороге* написал я, правда, прочитала она только то место, где *Дева* открывает грудь, чтоб целовал могучий *Единорог*.

А через минуту не пойманный прослушками всех спецслужб на свете тихий девичий плач.

И вдруг правым предплечьем почувствовал грудь, которая приблизилась, тепло ласковой первородной страсти. Будто не мне час назад рассказывала о своих походах в гости, когда один раз садист, к которому поехала в Шушары, сильно стегнул ее плеткой, она вырвала плетку и в ответ ударила его. Больше туда не ездила! И не она вдохновила шефа-музыканта на любовные ласки, не она вышла на встречу-охоту и завлекала то неутомимого турецкого инженера, от которого даже сбежала после третьей встречи, то итальянского пластического хирурга, который после объятий подстриг ей ногти на ногах: «Такого у меня еще не было!» Но над всеми парил альтист, она во встрече с ним забывала и норвежского жениха, и шефа с фаллоимитатором, который он нашел будто бы в шкафчике внука.

— Химия... главное — химия!

— Но химия же чему-то вслед!

— Нет, все вслед химии!

Шеф назавтра позвал позаниматься, поиграть на его альте, стоит три миллиона. А потом начинал ее целовать, ей неловко: на том самом месте, что всем нравится, красные и уже синеющие следы от вчерашних укусов альтиста.

— Почему холодные руки? Вы что, не знали, что война будет? — Я вдруг посмел спросить.

— Я все знал.

— Труба качает... деньги текут? — Я не мог остановиться, словно забыл, что больше всего на свете *Президент* не терпел удержания. — Знаете, что самое страшное для философа? Когда скажут: «Обычный ты человек!» Правда, есть еще страшнее.

— И что? — Он спросил, будто бы против своей воли снисхождение к идиотусу.

— Перестать быть человеком.

И еще далеко было от того полдня, когда в ошметках несостоявшейся войны-чумы будет проведена мелкая, но смертная операция без названия.

Яростно пчелы кинутся на полуголоое теплое тело.

28. ЭНТЕЛЕХИЯ ДНЕЙ

Президента можно свергнуть только повсеместным мычанием, визгом свиней, карикатуры-дуры гонят со всего света — самые злобные и глупые из Украины и Польши. А я живу так, как будто ничего не произошло, зарплата советника еще продолжает капать. Но, наверное, свидетельскому существованию *Советника* скоро совсем край. Мои перформативы кажутся просто декларациями, призванные вызывать действие слова-перформативы не имеют силы.

Христианин, толкует Розанов, точно больной и всех заподозривает, что они больны какими-то еще худшими болезнями, нежели он сам. Только к одному — к власти он не чувствует подозрения. Всегда она добра, блага, и собственно потому, что он ленив и власть обещает его устроить как калеку.

Вот христианство... худошавые люди.

Нет у христиан, Розанов сокрушается, ясного, доброго, веселого глаза. Все всех осматривают, все всех подозревают. Все о всех сплетничают. «Христианская литература» есть почти «история христианской сплетни». Посмотрите беллетристику, театр.

Это почти сплошное злословие.

Как ужасно.

И еще ужаснее любить все это. Стонаю и люблю, стонаю и люблю. Привычка традиции: ах, «мои бедные родители». И еще сокрушается, что много в Евангелии притчей, но где же молитва, гимн, псалом? И говорит, что почему-то Христос ни разу не взял в руки арфу, свирель, цитру и ни разу не «воззвал».

Может, ждал, когда сами воззовут себя?

Странная тихая и до конца необъяснимая тайна начнет расти, как зерно из переживших морозы озимых борозд. Розанов писал, что Евангелие есть религиозно-холодная книга, чтоб не сказать — религиозно-равнодушная. Не поют, не радуются, не восторгаются, не смотрят на Небо! Уж очень удивляет и поражает религиозной трезвостью, близкою уже к рационализму.

Где *Царь*, неудержимо поющий Богу?

И есть ли неравнодушие в душе и сердце *Президента*, или музыка молитвы переведена на «*sogito, ergo sum*» политики и власти.

Розанов со словами: задавило шкафом. Но человек не умирает и все стонет. Хоть бы умер. Цивилизации было бы легче дышать. А то невозможно дышать. А все стоны, стоны.

Увещевал Розанов, накурлыкал, накликал... навещевал.

Из заброшенности, из болотца трясиного, из тельца слабого, из тела буйствующего что-то же должно родиться, как у Розанова — бабочка есть душа гусеницы и куколки.

Энтелехия.

Как *Партизан* вырос из неумного плача, что стоял над дорогой? Как любовь *Президента* выросла из встречи с нагим существом не берегу, одновременно в двух одеяниях — мужском и женском?

Андрогин мифологический сам в себе любовно един.

И если в гусенице, обвинившейся коконом, которая кажется умершею, начинается после этого действительное перестраивание тканей тела, она не мнимо, а действительно умирает — из гусеницы сюда выйдет бабочка. Из офицера внешней разведки, из каратеки, из коммуниста вышел же верующий *Президент*?

Знаю, что скажет при следующей встрече, если она состоится и если рукопись моя не сторит от случайной спички. Не разовьется ни в книгу, ни даже в завершенность, никогда не станет свидетельством.

И если необходимым условием власти является страх, привычка к рабству и религия, для удержания власти нужно завлечь непосредственных подчиненных в процесс их собственного подчинения.

Так скажу — он даже не сделает паузу для молчания.

29. СВИДЕТЕЛЬ И ДРУГИЕ

Надо снова начать жить там, где живут такие, как я.

У насекомых, у коров и везде в животном и растительном царстве, а вовсе не у человека одного есть таинство небесное и святое. Именно в центральной его точке, утверждал Розанов, — в совокуплении. Тогда понятна застенчивость половых органов — входят через *это* в загробную жизнь, в будущие века. И странно тогда понятно наслаждение. Эдем, блаженство. Поразительно то, особенно, что насекомые (не одни бабочки, но и жуки, бронзовики, божии коровки) копаются в громадных относительно себя половых органах деревьев, особенно кустов, роз и олеандров, орхидей.

Ноуменальное необходимо! — Розанов снова тут как тут.

А что в духовных академиях богословие?

Гораздо более богословия в подымающемся быке на корову.

Черви шелковичные, что я видел, когда был вместе с *Президентом* в Китае, выпускали из себя шелковые ниточки, делали себе шелковые рубашечки — интонирование розановское, почти пришепетывание. Стоял тогда в самом конце делегации, никто на меня не смотрел — белые существа шевелились за стеклами, свергались сверху сочные листья шелковицы. А при входе в национальный парк продавали шевелящихся на палочках скорпионов, скрюченных и распрямленных змей, длиннющий красный бараний отросток.

— Пенис бараний!

— Жалко коллегу! — Кто-то из группы военных советников.

— Знал одного... с двумя медсестричками одновременно. Пьяный заснул... скальпелем!

Я слышал слова, приглушенные почтением и шевелением миллионов белых червей-ткачей. Но тут легкость рубашки из шелка, ясность армейского смеха вблизи созерцания бараньего пениса, скорпионы корчились, посаженные на тонкие прутья. Египтяне во время празднеств проносили мимо пиршественных столов мумий.

Мимо этого, мимо, мимо.

Но есть убежище, есть убежище. Гнездышко, Розанов говорил, Бог разместился в гнездышке человеческом. Бог-Отец греет, солнышко создал, а европейская цивилизация слишком раздвинулась по периферии, исполнилась пустотами внутри, стала воистину опустошенной и от этого погибает.

Бедный голодающий информатор Розанов. Слова в строчках бросает то в надежду, то в отчаяние.

О, не надо христианства. Не надо, не надо... Ужасы, ужасы.

Господи Иисусе, зачем Ты пришел смутить землю?

Смутить и отчаять?

И если в голоде не надо христианства, то почему нужно в довольстве? — приближаюсь к тому, к чему приблизиться нельзя. И не потому, что страшно — вторгаюсь непрошено. *Президента* надо усиливать, ведь предупредил Платон: после разгула демократии всегда приходит тиран.

— Я уж устала... — говорила Анна-органистка в Москве. — Будто время усталости наступило, раньше так не было. А он после первого раза, сразу меня бросил. Вчера предложили место в театральной библиотеке с десяти до самого вечера!

— А музыка?

— Нет денег, нет денег. В родной Смоленск не съездить... Я никого не могу любить. И тебя тоже любить не могу. Тебя надо любить со всей силой, я так не умею.

— Ты меня любила?

— Конечно... такая разница в возрасте.

В детстве хотела стать девочкой-мессой. А Флоренский писал, что имя Анна первое среди всех имен, ей даже не нужно заниматься музыкой. Анна — сама музыка.

Она неповторимо по-девичьи радовалась. Ведь когда высший план любовности не достигается или уже пройден, любовность получает приток энергии через силу собственной природы — может впитывать стихийно-мистические энергии, даже может смешивать проводники благодати с самой благодатью. Влажное горячее лоно... стихия прикосновения, странная мистика эроса во всем. Она даже от своей собственной природной влажности отрешается, понимает прикосновение как своекорыстное и разделяющее.

А бабочка, в полночь в тепле проснувшись, крыльями водит, мы смотрели вдвоем.

И тут Анна находит близкую душу поверх всех влечений — поверх меня и даже поверх себя. Просто примирение со стихией, но раз благодатное склонилось, она называла это любовью. Даже острый разум — она написала книгу о незавершенных симфониях Брукнера, говорила мне, что разговор с Богом не может быть завершен, неведомые силы и стихии жили в ее глубине.

Она будто бы даже вовсе не нуждалась в любовном соитии. И даже книга о Брукнере казалась уступкой и не совсем уместным жестом — чем-то почти извне придуманным, хотя искренним. Но письма похожи на розовощекую на морозе Анну, с улыбкой идущую навстречу. И когда она что-то произносила совсем обычное, слова начинали светиться, звучать так, как будто никто их до нее не говорил. Анна мне писала, что музыка одна никому не принадлежит. Музыка словно бы только подтверждала, но без ее согласия Анна ничего не понимала в себе самой. Анне не нужно никакое самовоспитание — вовсе не потому она сторонится близости.

Она ее все время хочет и не может найти.

Правда, теперь совсем недалеко от нее в Париже человек, которого она называет суженый. Они жили с ним в Петербурге, он приезжал в Москву. Говорила, что просто тихо спят рядом на одном диване — он бережет здоровье.

— Может... гей?

— Нет.

Музыка неслышно звучит в давно прошедшие над Смоленском оплывшие рожи чернобыльских облаков.

30. МОЛЬБА О РЕЧИ

Сократ оказался в руках тех, кто предуготовил и закалил в обвинениях фигурку-смерть. Успел бесстрашно сказать из узилища: «Не забудьте принести в дар Асклепию петуха» — рывок из удержания.

И *Президент* раздает места, где лучшая глина, дает печи для обжига, кивает вылепленным фигуркам. Все в преклонении к человеку власти. *Президент* будто бы стал старшим горшечником, успокоен запасами глины-власти и тем, что может ее раздать. Но что-то остается недобытым, невылепленным, необожженным — не явленным взгяду. Что-то будто бы нужно искать, не зная, как его опознать. Вдруг будто бы ни с того ни с сего горшечник начинает задумываться о смерти. И не потому, что страшно подступила. Будто бы совсем потесненные из властного ремесла правда или ложь снова возвращаются в человеческих обличьях. Сидевшие одесную и ошуюю около *Президента* просили своей доли, чтоб обрести силу — он мог им передать часть своей. Так в годы, когда занимался карате, *Сэнсэй* вливал свою силу в его технику свободного боя — кумите, наполнял чашу, передавал, чтоб он почувствовал присутствие, а потом научился обретать силу сам.

Дракон на плече ни на миг не закрывал свои все видящие ночью и днем красные глазищи.

Все в его смотреии растворялось, как в снах-шуиманджу: все теории, где ждали своей части вливаний Макиавелли, Гоббс, Гегель, Карл Шмитт, Хайдеггер с его идеей *вождя* и Агамбен с идеями наступающей *голой жизни*. Сила расплывалась по кровеносным потокам — теперь террор переместился в совершенно непредсказуемое обаяние биологического протеста. Все объяснения тонули в чувствах, жестах телесности или странном для молодых представлении о смерти, которая казалась чуть ли не безобидным симулякром. Присутствие, настроенность, обаяние — стало действовать то, что растворено во всем. И человек в непрерывном говорении боялся сам себя — оказался полностью в удержании, как раз в том, что *Президент* больше всего не терпел. Всех будто бы кто-то схватывал в неодолимом удержании. Удержание, не бывшее раньше массовым, соединило в себе неостановимые колебания — непрерывность мутации, неподвижность: нет смысла и нет силы двигаться среди непрерывного вихря. Эти удержание и обездвиженность посреди дергающихся жестов никто не хотел осознавать. Ведь почти никто теперь не дочитывал до конца роман Достоевского, где описано наступление все разрушающих и искажающих смыслы агентов *трихинов*. И в обжигающее омоложение войны никто не верил, да и некому верить. Необычайно востребованное совсем недавно карате больше не привлекало никого, кроме спортсменов.

Любая устойчивость вызывала неприятие — какой-то смысл жизни придавало иногда совсем сумеречное удовольствие от власти, такое самостояние, где нет места удержанию.

И надо было на что-то самое главное решиться.

Но если раньше была одна наука о власти — геометрия, то теперь совсем другие ориентировки. Розанов перебирал монеты: вот лица, вот века, вот концы и начала. Выпукло предстают, края зазубринами цепляют подушечки пальцев. Нагревается монета в руке, почти сливается с теплой ощупывающей плотью.

Божественное, по Розанову, присутствует в прикосновении, даже если веры нет.

Но совсем отдаляется голос *Президента*. А мой голос со словами Розанова стал казаться ему, наверное, ничего не утверждающим. Какой-то нужен другой грамматик и толкователь.

Свидетель, как известно, всегда в подозрении.

Но и *Президент*, я вижу, ясно понимал далеко не все. Вот почему ему нужна вера. И дело не только в ней — полнота недостижима, дело в решимости верить. И во всех

вихревых потоках он хочет определить геометрию власти. Не остаться с давно уже высказанной рухлядью, не быть в удержании, ни к чему неподвижно-намертво не прикипеть. Хранить душу, не забыть о насилии, когда жестко держали голым задом над колючками ежака — даже сейчас скукожилась ближайшая к колючкам голая плоть. И чтоб извернуться от удержания, нужен ловкий выверт, защемление чужой мышцы, переворот, новая мгновенная форма усилия, чтоб схватить происходящее.

Идет охота — *Президент* охотится за властью и силой, где словно бы неявно и неприметно приблизился некий конец — игра с огнем.

Президент охотится за своим, а я в своей охоте. Черные воины со мной, ниндзя-профессионалы сыска, юридические, Лев Толстой со своим Иваном Ильичом, и Достоевский, где любовно князь Мышкин и даже несчастный гражданин швейцарского кантона Ури, что стал свидетелем над самим автором. И Розанов вслед из моей книги, где многое осталось бесстрашно ждать продолжения. Искать надо какой-то почти невозможной правды.

Все дело в поступке.

У *Президента* есть, наверное, какая-то своя не доступная никому правда. Ведь что-то же его держит — не только имперская служба-наружка. И никакое знание не даст правильной жизни — Родион Раскольников был студентом юридического факультета, все о правильном и неправильном знал, а под плечом топорик.

Что-то схватило и держит, грозит удержанием, требует высвобождения.

Ему, говорящему в бесстрашии, кто может грозить и что угрожать? И что остается? — без вызова, без хитрости, без оправдания нужно внимательно смотреть и слушать. Так *Президент* — его никто не мог удержать. Но я не хотел ни в каком слове удерживать, просто совсем случайно узнал о его скомканном сне. А обвислость Розанов нашел даже у Аполлона.

И страшно гневлив болящий Розанов... готов богохульствовать. Призываю вас, вопиет, птицы, рыбы, злаки, деревья, о сотворении коих всех сказано в Библии, взывает, вопиет апокалиптическим языком: смотрите, нет Его: к двум разбойникам приложился третий, худший из всех, злейший из всех. Это — СЫН, отложившийся от ОТЕЦА и провозгласивший «СУД МИРУ СЕМУ»: но не ОТЕЦ, АЛЬФА И ОМЕГА, первый и ПОСЛЕДНИЙ, низложен: а он, окаянный Каин, треклятый Хам, посмеявшийся Отцу своему, и вот — НЕТ его, прах и ничтожество.

Розанов в бедной, страшной и жалкой ярости.

У русских есть упрямство.

Но нет силы воли. И есть нахальство приказа, нет дара обладания. Они не умеют управлять ни собой, ни другими. И вот это мешает им сложиться в историческую нацию. У нас история — моменты, а не процессы. Соломон, Давид и никого. Пушкин, Лермонтов и всякая сволочь.

Россию подменили.

А что будет, когда *Президент* уйдет? Напоследок в одиночестве горьком или монашеском успокоении вырвется из удержания — нефтянку вернет в общее народное пользование, золото, алмазы и все ценное из земли передаст тем, кто на земле. Сделает так и уйдет на покой, а тот, кто будет после, пусть разбирается.

Восстанут олигархи, восстанут владельцы. Рады будут только полицейские и генералы — рост чинов. А из укромного места он будет следить за происходящим в собственном удержании, домовый не нужен, что по ночам наведывался с лохматым гнетом.

Ни любимой женщины, ни партнера в додзе. И сам перед собой три поклона перед входом: додзе-нирей — поклон месту, камидзо-нирей — поклон духу карате, сэнсэй-нирей — поклон учителю.

Раб на галерах и сам же эти галеры.

Поклон самому себе.

Но и *Президента*, и меня держит встреча с таинственным чудом *Нагой* на берегу — это поверх всех встреч. Трансверсальность поверх всех времен, подсказывает любивший новые словечки Розанов. Не только святые одеты в свет, но и те, кто навсегда рядом почти в самых глазах. Одна-единственная приходит в сны в почти божественной любви. У нее ни лица, ни имени, ни тела... протянул руку — в ладонь легла маленькая прохладная грудь. Она его руку приблизила к себе — накрыла его ладонь своими ладонями. Потом взяла другую руку и положила себе на живот, чувствовал ее дыхание — у женщин, вспомнил где-то услышанное, очень мягкий живот, потянула руку ниже, и бугорок внизу живота вдруг мягко боднул ладонь. Облако, тяжелеющее от воспарившейся влаги, наплывало сверху.

Теперь только биовласть казенная, никуда не деться, нужно ее обыграть, сбивать с толку обманным движением таи-сабаки. а вслед мощное движение-удар. И *Президенту* иногда становилась противна политика.

А если хозяин дома-Кремля — навсегда воин?

Смертельное величие.

И *Президент* понимал, что родство может быть только там, где повито теплом, одиночеством и смертью. И чувствовал чаще всего в храме, где ясные глаза у детей, верные у мужчин, прекрасные у женщин, стоял среди своих, не было ни в чем сомнений. И тогда *Президент* начинал думать, что странное и непредставимое бессмертие все-таки есть. И надо выступить словно бы от имени всех. Иначе они все до того разделятся, что начнут ради своих дел приносить в жертву других. А если он принесет в жертву себя, а другие не готовы, то воспримут его жертвенность как знак поражения и бессилия. Значит, надо подвигнуть не всех, что невозможно, а многих. И дело даже не в том, что именно они будут готовы принести в жертву — главное, чтоб поняли. Любовное переживание на берегу, горячий песок, взбухшая тутовинка груди под его ладонью — толчки пульса на запястье и стук сердца девушки рядом совпадали в одном биении.

Президент теперь знал: никому ничего с ним нельзя сделать.

Он постоянное удержание ощущал, никому не напасть неожиданно. И силу почувствовал, теперь с ним нет сладу. И не подойти к такому ни с какой стороны: раньше... раньше надо было валить! — слышу, как говорят, только не совсем понимаю кто. Трещиной ползет молва с разных сторон, источник почти не виден. Надо раньше было... раньше, валить его раньше! Сделать слабым, в самый конец «Апокалипсиса нашего времени» навсегда окунуть, удержать в неуверенности.

Для этого меня готовили и направили?

Кто-то вампирически вцепился в меня.

Это новейшая форма террора: сделать слабым — бессильным.

И я, вовремя раскрытый *Президентом*, агент такого террора? Но успел предупредить. Боевики со снайперскими винтовками, подрывники с поясами на животах, летчики-террористы за штурвалами — не они главные. Теперь другой террор — человеческая натура, нутро, смертно переплелись *ружя и нутрь*.

Бездонный резервуар страстей, обид, неисполненных желаний.

Весной и осенью улетают в своих видениях тысячи обитателей — вот невидимые армии. А вслед под вой свиней, от которых шарахались боевые слоны, пойдут лишенные уверенности, несчастные и несчастливые, еще больше будет тех, кто себя такими считает. Им все надоело, надоело жить, не хотят думать, что их крики просто знаки боязни смерти. И нужно *Президента* удержать, связать — неважно чем, окоротить, будто бы выхолостить, лишить силы, сделать слабым, неуверенным, привыкшим к удержанию так, что уже перестал бы его замечать.

Найти место, где уязвим.

Надо было успеть сказать *Президенту* о биополитике. И про новый евразийский соблазн: не надо доверять. *Левиафан* там бессилён, там властвует *Дракон* — ниндзей-наколкой проник на предплечье *Президента*.

Силу тщательно хранить от драконьих наблюдающих глаз. Живут и будут жить — будут видеть только свое.

Где Евразия? От Китая до Польши.

И все евразийские языки имеют особую ориентировку: смыслы различены соотношением твердых и мягких согласных. Не просто тем, что в них имеются звуки *л* и *ль*, а тем, что эти звуки используются для различения слов. А русские как раз посередине Евразии.

Курилы надо держать и не отдавать.

Но теперь он меня уже не слышит. А те, кто с ним рядом, и раньше не слышали — подслушивали, теперь на правее притянут заслушать.

Две буквы выкинуть — зашарить.

31. СЛУЖБА И ВЕРА

Для *Президента* служба была бесконечным поединком, где ни на минуту не останавливаться. И мгновенно отвечать на вызовы — единство духа и тела. И способность принимать решения в нужный момент — готовность ко всему концепции бездумности.

Но что-то иное все больше начинало думать им самим. Библию читал в старом славянском переводе. Еврейская традиция представляет *Левиафана* гигантской рыбой, правящей морскими животными, а *Бегемота* — его двойником на земле. В одном мозаичном изображении на полу старинной синагоги представлена битва двух чудовищ, а надпись выражала желание быть свидетелем последней битвы и принять участие в мессианском пире.

Желание свидетельствовать было всегда. Но вера — особое зрение.

Не подвластно никакой силе, никакой власти. Вера *Президента* была видима только одной своей малой малостью — видимого хватало, чтоб о его вере судить. Сам для себя он оставлял невидимое — Розанов говорил о прикосновении к миру, в котором может быть надежней, чем в любом помещении, уютно, как в родном доме. *Президент* в разведке хотел служить, чтоб места хранить.

И без объяснений, без слов, без политики и даже без осознанной веры понял, что *Бог* есть. Когда это понимал, не думал уже ни об усталости, ни о том, что будет, не думал даже о смерти. И знал, что пойдет до конца, пока будет верить. И даже если окажется в совсем другом состоянии — позади время, когда был учеником, позади время воина, позади время хозяина дома-Кремля, а теперь он в днях и ночах отшельника, не будет в отчаянии и страхе. Но напоследок должен сделать что-то такое, чтоб все почувствовали то, что чувствует он.

Надо пойти, словно бы возвращаясь, но обрести совсем новое, этот странный путь не зависит от заранее выбранного направления. Это не простое возвращение, дорогу надо заново обретать, не зная, правда ли, что она ведет в обетованное место. Это блуждающее изобретение, такой путь, которого не было до того, как он стал возвращением из блуждания.

Вот почему он спрашивал у меня, что такое *анабасис*.

Иногда верил, что может так быть. Не впадать же в смехотворное усилие повторить акт креации — именно с него начинается Моисеево Пятикнижие. И дело совсем не в том, чтоб переменить участь. Я свою почти переменял — для отставного *Советника*

одно непрерывное разглаголанье. Залег советник ЛИС в своей норе — умный и осторожный лис никогда не охотится рядом с убежищем.

А славянофилы в рассуждениях о русском глаголе красным подчеркивали свойства — *динамизм, энергия, сила*. Что-то близкое к натуре могучего защитника-дракона. Все эпитеты русский глагол заслужил, преимущественно перед глаголами других языков, в силу наличия у него видовых форм, указывающих на различную продолженность и интенсивность действия.

В этой перспективе «русский глагол» выступал как воплощение тех свойств, с которыми связывались историософские идеи и мессианские устремления русского «почвенного самосознания», о котором *Президент* не переставал думать. Поведение русского глагола неподвластно рационалистическим схемам: он динамичен, всегда находится в движении, как сама *жизнь*.

Получаю короткие письма от Анны из Парижа — ясно звучит клавишин, вздымает звуки могучий любовник-орган, горячие после игры руки. В прекрасных заплаканных глазах почти не осталась тоскующая московская любовная память, меня сегодняшнего там больше нет.

Поет и плачет, писал В. В. Розанов, играет, молчит и плачет.

Играет, так далеко от меня.

32. РУЖА И НУТРЬ

Ружа и нутрь? — отдельно не существуют.

Хочешь быть подступающим *Тираном?* — не могу спросить.

Демократия... иллюзия справедливости.

Коррупция неискоренима — согласно точке зрения Канта, означает нехватку, а нехватка будет всегда. И бедность будет всегда. И всегда будут те, кто верит, что их Бог лучше всех. И войны никогда не кончатся — «*Warum der Krieg?*» — спрашивал мастер подозрения Зигмунд Фрейд.

Почему война? — люди агрессивны.

То, против чего *Президент* каждый день говорил, неискоренимо и будет всегда. Богатые никогда не отдадут власть. Бедные никогда не перестанут быть бедными.

Немощь... немощь, немощь — Розанов острой бородкой разговор проколол. *Президент* различает его кивание уже без моих ориентировок. Спасет только вера? И она чуть показана, крестом помечена. Только из *нутри* видны перверсии — шизофреническим намекам не верят, агента перепроверят — агент-шизоид снижен в статусе, агент-шизуха... потаскуха, непруха, старуха-проруха.

Нескончаемый сон-шуиманджу?

Будто бы даже не сон, а предсонье смутно.

И в нем чужие гадкие действия.

Виден безобразный, ничего, кроме себя, не признававший орган без тела с прорехой меж двух половинок. Может, это смерть неотвратимо и безобразно? Будто бы только неприятный сон-дристун, а на самом деле страх смерти — метится сам в себя. И держит в прицеле, чтоб не промахнуться.

А ведь Боги будете, сказано в Писании.

И *Президент* всегда старался думать о тех, кто жил в спокойном внимании и печальном приятии. Голос кукушки во сне слышал и понимал, что окликает мать. А богатые будто бы даже вообще не думали, что они смертны.

Теперь молитовка была рядом — так называл тепло, чтоб приблизить.

Было все-таки что-то странно единое. И это соединяло всех. Оно было из той самой *нутри*, что только стеснительно показывалась на лицах и действиях *ружи*. И по-

нимал, что не такой, как другие правители — они не так относятся к своему народу. Они давно привыкли к тому, что есть неравенство — богатые и бедные, всегда было. Теперь так было и в его стране, но совсем недавно.

Жизнь разорвана неравенством.

И он хотел хотя бы близости равенства.

И Розанов *Президенту* сразу же свое сквозь немецкие строчки — русская жизнь хоть и грязна, но как-то мила. Посмотрит русский на тебя одним глазком, посмотрит другим глазком — и все понятно. Вот чего нельзя с иностранцем. И в своей стране *Президент* мог чувствовать всех — ясно запоминал татарские, чеченские, калмыцкие, еврейские имена. Он у всех находил родство — все стремились избежать войны, страданий, болезней.

А богатые у всех народов были на один крой — они любили, жалели, стремились, но все это делали только внутри себя.

33. СВИДЕТЕЛЬ-ЛИС

Разведчик, что заботится о собственном архиве, самоубийца.

Ведь свидетельство только о самом главном, чтоб становилось явным даже при непонимании и неприятии. Где брат твой Авель? — Разве я сторож брату моему? Голос божественный из небесной тверди, а ответчик из персти земной. А земному лучше бы тишком-нишком — Розанов говорил, что он всегда за занавесочкой. И борьба моя, оттуда шептал, не против Христа, не радуйтесь, попики.

И тут снова, хотел сказать — неожиданно, нет, в желанном ожидании встретил Анну. Она уже полтора года в Париже преподает игру на клавесине русским и французским деткам, стала взрослым учительским подобием той, что была в Москве. И я снова подумал о страшном облаке, которое когда-то прошло над ее родными местами. Но в объятии, когда мы встретились, она уже не была прежней. Говорила, что никого не может любить.

Я хотел ее пожалеть.

Но пожалела она меня — незначимого бывшего советника, за которым накоротке казенно-заботливо ухаживала в Москве. И я снова выстроил последовательность того, что чувствовал раньше, будто именно к такому кто-то меня предназначал. Агента — *Спящего* — готовят к одному смертельно опасному для него выходу. Но Анна, я думал, совсем отошла от прежней службы — стала тихой отшельницей музыки, а хотела стать девочкой-мессой. Раз в месяц она готовила записки для референта из консульства — будто бы просто продолжала странствовать по нотным строчкам. И там про на строения в консерватории, про то, что парижские украинцы сорвали концерт, задуманный как противодействие войне на Донбассе, — звонок устроителям концерта обещал разломанный клавесин, разбитые зеркала и *по мордасам* для артисток.

Меня и Анну словно бы держали в готовности.

А Париж, сохранявший прекрасную статью, уже переставал быть собой. Мишель Уэльбек прошел вдоль книжных полок рядом с арабом-охранником — в его романе «Покорность» Париж совсем позеленел, а вслед вся Франция в романе стала мусульманской.

— Это так? — спросил я у Анны и подумал о Москве.

Головы не поднимать... преподавание, репетиции, концерты, конкурс в Бельгии. Вот так, мой дружочек, вот так. Она кивала, улыбаясь, — я живу в Париже, я замужем. Но я одна... одна. И только раз в два месяца побег на север Германии к любовнику-органу.

— Оставишь меня одного? — спросил я.

— Не хочу оставлять тебя одного.

Я обнял ее посреди спешащих к вину и конфетам эмигрантов и местных любителей изящной словесности. Ее тело было ласковым, но словно безвольным. Это совсем не та Анна, которая жестко отвела мои руки, когда я хотел обнять ее в служебной квартире в Москве. Тогда ее колено поднялось к моему паху — тело действовало по службе. А теперь словно бы на распутье — у нее был свой клавесин. Когда она приезжала в родной Смоленск, на афишах было написано, что она из Парижа.

— Не хочу оставлять тебя одного. Но ты знаешь, я тоже одна.

— Нет, нет... — говорил я.

И не спросил о муже-музыканте, который был моложе ее на четыре года.

— Мы просто спим рядом... Он бережет здоровье. Да пусть делает, что хочет... только пишет музыку!

— Тебя любят?

— Может, и любят.

Она жила в обаянии чего-то неясного. И кроме музыки — музыка одна никому не принадлежит, — у нее будто бы совсем ничего не осталось. Но ведь женщине по имени Анна, друг Розанова Флоренский написал, музыка не нужна.

Анна сама музыка.

И если звучала в тех звуках, что отрешенно-любовно выплескивали клавесин или могучий орган, наверное, ни о чем не думала — во время игры не думают. И перед игрой не надо, во время игры думают руки. И никогда первозванная Анна не потеряет веры — в ее неясном, так мне казалось, существовании — она все о себе знала, но словно бы отстраняла в надежде — музыка не кончается.

И в этом звучании совсем не осталось места и времени для меня.

Можно бы смириться — молодые женщины всегда покидают взрослых мужчин. И существовать в странности... странствовать наедине с собой — отвернуться, хотя мир иногда бывает прекрасен. Но что жалеть — глоток вина из милых розовых губ, прекрасные строчки, любовные объятия?

Мне кажется, я готов был тихо умереть.

И жалко таких плачущих — никогда не утешатся.

О, Анюня парижская! Прости меня... ты, наверное, ангел. Пусть самый низший чин в ангельской иерархии — ангел, в человеческом служении — чтец. А в музыке исполнитель. Из инструмента взлетает к властям и силам — божественный престол почти рядом, ангелы прислушались — музыка одна никому не принадлежит.

Неужели ничего больше не существует?

И не верю, что мысль преодолевает, преодолевает все любовность. Она может быть в трещинах, как зеркало. Отправилась в Париж, чтоб быть полезной людям? Чтоб дети, которых нет в тридцать два года, жили лучше?

И тогда согласилась на легкую службу — улыбаться, слушать, не спрашивать, запоминать. Даже не секретный сотрудник, не училась в академии, где готовят разведчиков — требовалось, чтоб абсолютный слух различал неслышимые для других мелодии и звуки. Ведь когда опускается ночь, ничего не видно.

Только слышно в ночи.

Ты даже не в слова вслушивалась, слова обманывают. Вслушивалась в общий знак настроения, еще не высказанное, но только лишь различимое. Ты инструмент, тонко внимающий, — с тобой внимательно и даже любезно беседовали один раз в месяц.

Интересно, что ты рассказала о моем строе речи?

После встречи с тобой меня больше не приглашают на беседы с *Президентом*. Что ты расслышала в моей интонации против своей воли — так хочется думать, сыграла в доверительном и будто бы совсем отстраненном от всего разговоре? Дрожь душевную и неуверенность тела — ты даже в объятиях была не совсем со мной, я чувствовал.

Ты решила, что я из массы охотников?

И буду своими словами лишать силы того, кто позвал меня для разговора о Розанове? Но даже и Розанов со мной обессилел — из последних страничек то сметанки просит, то свежего творожку, то хлеба тепленького. То спорит с Богом, то славит Отца. Будто бы вовсе не укоренен — все священники уверены, что Розанову веры нет. И ты поняла своим музыкальным чутьем, что не надо мне верить? И при очередном разговоре сказала об этом тому, кто в твои слова внимательно вслушивался. И все потому, что до конца не верила мне. Будто бы отстранялась ради теперешней парижской жизни.

Так и есть, милая моя, милая.

Нагая на берегу тоже все знала, ничего теперь не говорит. Только молчит из обжигающего полдня. И *Президента*, и меня, случайного свидетеля, понимает до самой нутри. Ведь *Президент* хотел простой подсказки о власти, а получил присказку. Но я думал, почти уже не чувствуя переживаний, что еще что-то должен сделать — воспротивиться напоследок замыслу, который никогда не был моим. *Президент* — у меня такое чувство — сражается будто бы в одиночку. Я по-человечески его даже жалел, ведь он уже не так молод, как в те дни, когда мы кланялись, переступая порог карате-додзе. У него сотня помощников, но без него они почти ничего не значили.

Они будто бы просто отсвечивали.

Президент даже любовь расположил в пространстве силы и власти.

Но ведь там, где начинается политика, кончается любовь.

А я успел прочитать ему слова китайского мудреца: люби, и пусть любовь будет для тебя так же естественна, как и дыхание. Если ты любишь человека, ничего от него не требуй; иначе ты в самом начале возведешь между вами стену. Ничего не ожидай. Если что-то приходит к тебе, будь благодарен. Если ничего не приходит, значит, этому и не нужно приходить, в этом нет необходимости. Ты не вправе ждать. Будто бы даос-китаец говорил именно ему.

Он ничего не спросил, словно все это всегда и сам по себе знал.

В Париже Анна хотела приехать, чтоб проводить меня. Но осталось мало времени после моего звонка, она потом сказала, что прощает меня.

И я был огорчен, что прощает.

Анна почти всегда рядом с самой первой встречи, когда протянула через стол руку — медленно-неспешно в аквариуме за ее спиной опускались к зеленым подводным растеньицам навсегда плененные наблюдатели-черепахи. Руки были горячими после игры. Со мной будто возвращались к самой себе — музыкальный интернат, испанские и английские музыкальные школы, где она среди юных сверстниц была совсем взрослой — проплывшее над Смоленском облако оросило ее неприручаемой андрогинной силой. Она взлетела над своим возрастом.

Она потом писала мне, что никого не может любить.

Храм тела — говорила, тело — это всегда храм.

Какие моления в таком храме?

Ведь любовность — это чаша, которую наполняют двое. И если один вливает волной, а другой выставил волнорез, то волна обращается против того, кто любовно приник. Отсюда ревность, неутолимые переживания и чувство одиночества, навалившегося не только в ночи, но посреди бесовски ясного часа каждого бесприютного полдня.

Она снова вернулась к органу, но уже несколько раз мэтры говорили ей, что это не ее инструмент — она слишком влюбляла его в себя. Он будто бы совсем переставал существовать. А клавесин совпадает с ней в темпераменте.

Но беззаветно влюблена только в могучий орган.

Говорила мне, что это лучший во всем свете любовник. На скамеечке... ей органистка доверяет играющую плоть, носилась ее страсть, неутоляемая, жаждущая, рвущаяся из звуков. Никогда не перестающая быть девственницей-собой – *Девочкой-мессой*.

Теперь преподавала игру на клавесине в Париже, чаще всего в русских домах. Совсем освоилась в огромном городе, французское произношение было по-славянски мягким. И так, как улыбалась она, не улыбалась ни одна из записных картезианских красавиц. Раз в месяц приходила на встречи – в новое здание на берегу Сены, золотой купол светил почти так же, как купола Николы Морского в Петербурге.

Она ничего не делала, так говорила себе, что было бы неправильным. У мессы нет измены, барокко не признает конца. Каждый завиток живет связью с другими. И когда рассказывала о том, о чем говорили в русских и французских семьях, думала потом, возвращаясь, о своей семье, иногда даже о своих будущих детях, ведь они будут лучше жить, чем живет она. Но только любовник-орган распал ее чувства – никто из двуногих-любовников так не мог, чувствовала, что должен быть живой и ласковый сильный орган-мужчина. Экстазис ног по педалям, почти соитие, трубный рев, роящиеся образы как неназванные имена любви и страсти. И тогда в Москве лишь допускала на время меня в свой мир – боялась того, что никогда не сбудется со мной, а время пройдет.

Опустеет храм тела.

Она мне любовное имя придумала. Ведь уже до встречи с ней я знал, что существуют тайные имена. Мы с ней в единстве плоти, борозды рядом друг с другом разравнивались.

Но никогда мы с ней не говорили о том, за что получаем деньги.

Будто совсем никому и ничему не служили.

А чему и за счет каких сил служил *Президент*?

От моей розановской помощи отказался, но я будто бы еще при исполнении. Звездочет власти – так мне сказал вроде бы в шутку специалист по террору. Мои рассуждения о власти и силе совершенно, добавил потом, ни к чему не прилагаются.

И никакой любовной силой нельзя остановить войну.

И *Президент* все более становится существом непонятным – о самом главном он словно бы умалчивал.

Может, собственная моя непонятность сделает понятней его.

Кто вел и направлял? Будто бы все, что со мной происходило, было задумано. Так и с самим *Президентом*? И он при всей ясности речей будто в мороке говорит общие фразы, а чтоб не провисали, вбивает в разговор золотые гвозди: новое жилье, корабли-корветы, истребители пятого поколения. Ракета взлетела из-под воды в Каспийском море – золотой гвоздь. Взрыв в точно определенном месте – еще одно проникновение золотого гвоздя. Дождь неожиданный хлынул, когда *Президент* возлагал венки – ничуть не зашпешил, пошел сквозь пелену, встряхнул пиджак перед тем, как сесть в бронированный автомобиль. Он все делал правильно – благородно, по-офицерски, по-ленинградски. Он, видно было, себя не жалел, но что-то происходило не так, как замыслено. Он словно бы не совсем управлял, хотя управлял. Словно бы не замечал бедности и нищеты, хотя о ней говорил и хотел лучшей жизни. Но рядом с ним, значит и в нем, клубилось ему неподвластное. И дело не только в олигархах, дело было в чем-то другом.

И друзья-олигархи своего выжидали.

Даже если не будет слова нищета, простой народ не изменится. Будут верить и ждать только глупые и бедные, у которых, кроме ожидания и веры, больше ничего нет. Последний тайный рыцарь *Партизан*-бродяга надеялся на справедливость, даже ждал, почти уже теряя веру, правду-войну.

Но чтоб без крови и без насилия?

Будто был пострадавшим за всех, кто мог произвести потомство — расплющенное на дубовом пеньке семя протекло во все женские лона. И он со всеми рожденными и нерожденными жил и ждал. Бродил по земле: есть смиренные собаки, есть злые. И Анна-органистка чего-то ждала, чего можно ждать женщине в тридцать лет, кроме любви? Улыбалась навстречу овациям — подавала кому-то руку после концерта. Думала, что горячие после игры руки не для случайных прикосновений.

А *Партизан* в доме для престарелых совсем распустился в предчувствии очередной вольной весны — с каждой новой вместе с запахами начинал набирать силу, будто подземные токи проникают в старые жилы. Не может быть, чтоб так только у одного — где воины справедливости? Почти все сверстники давно в могилах, а те, что еще живы за недалеким кордоном, совершенно свихнулись — им не справедливость нужна, а непотребная война. И *Партизан* чувствовал, что скоро снова пойдет по старым местам — там на солнечном склоне оврага в Райском лесу остался схрон. Там выцветшие бумажки денег, там цинки с патронами, итальянские, венгерские и румынские штыки, гранаты в засмоленной макитре — слово вспомнил. Макитра из почти стершейся памяти, сосуд из обожженной глины с гладким нутром. Макогон-пестик перетирал семена мака, потом из настойки на маке сотворят снадобье — чтоб отбило память. Но внутри макитры вместо пестика-макогона гранаты — на длинной итальянской ручке далеко кинуть.

Не то чтобы хотел войны, а хотел, чтоб сбылась правда. Медальку с лацкана не снимал, чтоб узнали те, кто придет. А про него забыли... старел — ржавел шкирой и подгнивал деснами, война-чума гремела совсем недалеко на Донбассе, но сюда не достигла. Без него обошлись, зазря жил, зря ждал — не придут.

А воздаяния за несправедливость как не было, так и нет.

Только пчелы жили по правде, родник стремил из неведомой силы вверх. Крест нижней планкой указывал на место схрона. Тайну знает только один *Партизан*.

И только один я все знаю о нем.

Вот машина с украинскими номерами — двое назвались родственниками *Партизана*, он вышел — костыль ясеневый стучает в пол. Сердечко старое-свое — кому пожалеть? Медалька трепещет, дождался, не зря жил и ждал. И понимал, что не те люди. Старое военное рассыпающееся поржавевшее барахло... ассигнации-мертвяки, золото потемневшее.

Ехали через мост, старик давно не был на воле, корова полоскала вымя в воде — рыбки снизу касались розовых сосков, пастушок выплеснул в сторону дороги прокисшее молоко. И старик *Партизан* знал, что едет на смерть.

Решил не показывать место схрона.

А я невидимо для Анны слушал ее концерт.

Франсуа Куперен своим произведениям странные давал наименования: *Таинственные баррикады*, *Бабочки*, *Жнецы*, *Ветряные мельницы*. Звучащие пояса целомудрия ограждали мужчин от женщин, то появлялись, то исчезали преграды между жизнью и смертью. И хотя клавишин был легковесный любовник — Анна навсегда предана могучему органу, она взлетала к верхам собора, трепетало барокко — исчезали препятствия между людьми, которые скрывали себя под масками.

Партизан в машине с левого бока придавлен чужим жестким плечом, а с правого за стеклом вольная воля, которая, он понимал, прощалась с ним мельканием, пылью в глаза, заброшенными домами с проваленным шифером крыш, развалившимся саманным барканом, выдранными рамами окон и провалом дверей.

Война-чума идет совсем недалеко за Северским Донцом.

- Хлопцы... кто прислал?
- Не твое дело, дед!
- А все ж таки?
- Хочешь в долю?
- Доля... неволя!

Доля на *мове* судьба-судьбина.

– Где з-золото? – засвистел тот, что сидел слева. Старик знал, что змеи свистят, но никогда вблизи не слышал. И окончательно понял, что не те люди – зря проблестел медалькой столько лет.

- Не помню, хлопцы... Все заросло!
- Зрачник батькивщины? – изменник.

Нужно стрельнуть глазом вдоль по нижней планке креста, что рядом с родником. Но в прошлый приход к роднику он повернул примету – теперь не найти никому.

34. ВОЙНА СО ВСЕМИ

Смерть только у человека?

Животное околеваает – из прежних разговоров привожу по привычке, смерть есть там, где о ней знают. И *Президент* хотел нести утверждение даже памятью о смерти. Нужно управлять там, где почти никто не хотел, чтоб им управляли. Но теперь уж ни одна теория, не говоря уж о Розанове, больше не вдохновляла. *Президент* действовал в непрерывном дзю-кумите – поединок изо дня в день, где все мелькало – каждое утро ему обо всем произошедшем докладывали, но главное ни в чем не менялось. Он понимал, что ни одна теория не поможет: надо выигрывать, или смертно поразит чужая пустая рука. И самое главное, чтоб сохранить дыхание, так долго быть в поединке столько, сколько он может длиться.

Но добро и зло уже менялись местами не один раз.

И зло словно бы нужно – кто не презирает, не может ценить, политическая злость является более эффективным инструментом, чем чистая совесть. *Президент* иногда даже не мог удержаться, чтоб слова злости не высказать, недоброжелатели обращали больше всего внимания как раз на такие слова, он по-офицерски просто не мог сдержаться. И странно, что раньше не замечал в немецкой мысли того, что ясно становилось теперь. Там Гегель писал о наступлении времен свобод, революций и террора – всеобщей перверсии, мир становится абсолютным и всеобщим извращением и отчуждением мысли. Ни действительные сущности власти и богатства, ни их вроде бы навсегда определенные понятия – хорошее или дурное, сознание благородное и низменное – не обладают истиной, скорее эти моменты извращаются друг в друге, и каждый есть противоположность самого себя. Всеобщая власть остается лишь в своем имени, у нее нет больше действительности, на которой держался *Левиафан*. Власть как сила будто бы отдана в жертву самой себе, становясь безвластной сущностью. И это нужно было признать и умело в этом существовать. Все совершалось в виртуальном мире: все проходит через превращения, хорошее и дурное переходят друг в друга, таким образом извращают противоположности.

Что? – признать крах собственного опыта власти, где трудились все, кого он знал, где остается чистое представление о власти, остаться его почитателем и хранителем. И *Президент*, защищая порядок, все более понимал: растет то, что будто бы здесь и сейчас свихнулось со всех умных ориентировок. Порождает все более проникающее во все недовольство, тут Розанов-диагност в своем апокалиптическом вдохновении.

Жили лучше и лучше, но недовольных становилось все больше и больше. Будто бы они сопоставляли свою жизнь не с тем, что было совсем недавно или чуть раньше, а с каким-то желанным временем, в котором хотели жить. И это захватило всех — бедные ненавидели богатых. Богатые презирали бедных, были бы рады вовсе никогда не встречаться с ними.

Еще были советники-умники — совсем как во время *Бегемота* склоняли бедных создать хорошее мнение о себе самих. Это было какое-то непрерывное внушение. И я в него включен, впадаю в конспирологический соблазн, меня вызвали из университетской аудитории, чтоб ослабил *Президента*.

Но кем задумано?

Апокалипсис нашего времени еще хуже, чем розановский начала прошлого века. И когда стало ясно, что нет толку от моих разговоров — не хочу *Президента* ослабить камланием о немощи и конце, — сразу отдалили, но еще не совсем забыли. Вдруг еще пригожусь — *Партизан* сорок лет ждал возмездия и справедливой войны. Дождлся — бросили на разбитый улей, распух от укусов под солнцем. И меня бросят — свидетелей всегда устраняют.

И записи бросят в костер, посмеиваясь: рукописи горят.

А *Президент*, чтоб не попадать под чужое говорение, старался вырваться — хватал за руку проворовавшегося министра, брал под руку ветерана, целовал ребенка, гладил щенка, кормил с ладони подаренного ахалтекинського жеребца. Так можно технологически существовать, но жизнь не бесконечна.

И не с кем поговорить, кроме Бога?

Но *Президент* не был ни священником, ни монахом. Надо было чем-то сплотить всех, чтоб по-родному сблизить. Даже Гоббс-служака в помощь выстроил *Бегемота*. И меня выставил с чужой цитатой. Каким образом народ оказался столь развращенным? Розанов вновь об этом.

Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три.

И что за люди смогут совратить народ? Ведь вспахивают землю, варят сталь, доят коров, любят друг друга, охраняют границы. Но все становилось сплошной механической дойкой, где словно бы лишь в силу природной правды выцеживалось молозиво и молоко. Идут в колоннах с портретами — это родные люди. И *Президент* среди них, *Партизан* тоже был бы среди них.

Но что-то не ладится... нет единения — неужели нужна очередная война?

Только в сознании, лишенном понимания, может быть мысль, что Бог у всех один.

В каждой нутри свой — хотят своей собственной веры, которая будет лучше, чем вера тех, кто рядом. И все хотели процветания и хорошей жизни. И даже знали, какой должна быть эта замечательная жизнь. И почти каждый думал, что сам способен распоряжаться собой. *Президент* будто бы уже самим положением дел отстраняем от власти — людям даже не нужно было братья за оружие. *Президент* при всей силе и власти совсем будто бы уже не мог сопротивляться. И ни одна теория не давала надежного плана.

Ни одна ориентировка не помогала. А он хотел внести дух утверждения даже там, где совсем не оставалось сил или надежды. Надо, чтоб все увидели яркое место для жизни.

Счастлирое мгновение — *кайрос*.

Тут место для всех — сошлись в мелодии *Президент*, *Партизан*, *Родник*, самолет упавший и погибшие пчелы. Жала воткнулись в синие вены — нервные узелки, волочитя вырванное нутрецо пчел, гибнут вослед праведной ярости.

А *Президент* почти не меняется, сон-целитель после настоя-шуиманжду, массаж, бассейн, воздержание.

И молитва?

Дон-дон — часы на Спасской башне, день-в-дон... дон-в-день — знают службу. Этот *Президент* или другой — дон-дон! Рифмуется с народным русским погонялом контрацептива — не дорого пиво, а дорого диво.

И снова часы-шестерни, домовый-топтун из наружного наблюдения, милая, что не покидает, может, девушка-ангел? В одном образе девичье-влажное горячее и бесполое — *Президент* вдруг почувствовал ее тело, лежащее на горячем песке совсем рядом, коснулся рукой груди, и она накрыла его руку своей — тело ее никак телесно не представлял, а знал одним вдохновением, будто сам дышал в девичьем теле.

А *Президент* не хотел никому прислуживать. И тогда оказывался в одиночестве среди всех.

Жизнь вроде бы становилась лучше: встал мост на Крым, взлетали ракеты и падали в нужном месте, даже золотой запас рос. Но настроение становилось все более угрюмым, будто пропали жизненные и житейские радости. Только молодежь естественно ярилась-любилась — на вручение Государственной премии режиссер из Новосибирска явился в зеленых башмаках на босу ногу.

И пропасть, что разделяла богатых и бедных, становилась все глубже и глубже. О справедливости будто бы вовсе некому было думать.

Колыхнуть берег, чтоб девичьи розовые сосочки прямо к губам — на горячем песке бережка двое нагих любовно рядом. Через минуту двинулись друг другу навстречу, так облака перед Великим праздником стремятся против любого встречного ветра. И перед глазами живот с песчинками и прилипшим сухим корешком спорыша, напоследок стремится впитать пахучей девичьей влаги. А еще ниже почти неразличимое в такой близи лоно, картинка гомеопатическая, живет природной жизнью, показывает себя, не стесняясь. Больше чем во сне, где всегда догоняет разлучающий страх, тут просто берег с горячим песком, кобчик завис над парой, смотрит вниз, ничего съедобного нет, но желтых зорких глаз не ответит. Обманка всему, трехмерного существования нет, ни близи, ни дали, ни высоты, ни провала. Ни того, что было, ни того, что будет.

Ни мужеского, ни женского в явлении наготы.

Запах есть... цветок-тимьян или обножка гудящего шмеля, пыльца первоцвета желтеет, прилетел покормить двоих неумелых в люботе или на розовый сосочек позарился. Непонятно, где кончается, где начинается, смотри, смотри, не отрывай взгляда.

А власть всегда скрывает себя, жучка, хотя только и ждет сильного кобеля, а остальные в очередь.

Что держит во власти? Глупо же, после того, что видел, говорить вслед тихо, чтоб не расслышали.

Все умрем.

И не скажешь *Духовнику* на исповеди.

Душа вечно живет, губы слабеют, поцелуй утомляет, голова в сторону сама собой отворачивается, будто любое женское дыхание обуза в тяжесть. Вся реальность наготы-бунта разогнана отборной бригадой охотников национальной гвардии. Незабвенно нагое перед глазами, никакое видимое не покрывает, не вытесняет, нет спасающей сублимации, нет забвения, нет откровения наготы, нет покоя.

И надо просто служить.

Хорошо темперированное вытеснение, точность речи, жесткость разговора, забота обо всех, неотвратимость наказания — *Президент* все видит, слышит и знает. Разгром реального, провал любой чужой операции, раскрытие чужой агентуры, неподвластность нагой тайны. И сказать нельзя, непристойно и недостойно — почти порнография,

почти то же самое, что изображено на немецких-бандеровских картах, что показывал мне *Партизан*: на каждой голая туша выставила груди и черный лобок. А в предутрии сон-взгляд сквозь желтоватый прицел снайперской винтовки, долго смотреть, ничего не различая, только чтоб не накатил безобразный сон... бесконечной струей испражняется наглое мордастое гузно.

И никакой похоти в нагой встрече — тело подставить близким рукам и губам в самую нутрь, чувствуя, что она есть. А у Розанова молодожены первые три дня после свадьбы благостно уединились в особом помещении возле храма, лампадка теплится, тени угомонились. Нет непристойности, только у такой люботы, полагал, человечье вселенское будущее.

— У меня все позади... — *Советник-хитрый Лис* осмелился сказать *Президенту*.

— Все позади... — Редко бывает, чтоб он повторил.

— А что впереди? — Я осмелился вслух.

Президент не ответил.

Тут один на всех общий прием удержания, но *Президента* на всех не хватит.

Им не нравится, а он знает, что необходимо, где мягкой силой, а где жесткой рукой править, иначе разнесут все вокруг себя. Пусть метафизика в кризисе и время больших рассказов в прошлом — Москва-Третий Рим давно уже не точка отсчета, а лишь одна из ориентировок. Даже Достоевский *Бобок* угас, из смертного небытия будто не о чем больше из-под земли бормотать, незачем ничего не стыдиться.

Обнажаться и заголяться!

Все будто бы казалось устойчивым, об этом громкий шел разговор, а внутри разговоров и переживаний неверие, отчуждение, ухмылка.

Не было утверждения..

Всеобщая ненаполненность, почти все впали в соблазн. Естественные желания никуда не делись, люди, тяжело болеющие, хотели жить, взывали к *Президенту*. Бездомные просили крыши над головой. Раненные в войнах просили вспомоществования, *Президент* помогал. Нужно было ждать, казалось, всеобщего просительного рева.

Помоги... помоги!

Захватывал завлекающий мрак истончения, утраты и немощи, предупреждал же Розанов. Пугающее, душевное недовольство нарастало. И можно было его сдерживать силой до тех пор, пока эта сила не отвернется от самой себя. У всех будто бы все отнимали: у богатых богатство, у чиновников власть, у молодых людей естественную страсть. Будто бы ради какой-то неведомой желанной подлинности, но сама подлинность уже представляла в очевидном вырождении. Стремление схватить что-то такое, чего никогда не было... какую-то особенную свободу, какую-то безвластную власть, русскость без русскости, мужское с женским намеком, а женское в отказе от самого себя. Найти и схватить то, чего никогда не было, всеобщая симуляция и подделка.

Коррупция перестала быть проявлением чего-то другого и стала истиной самой по себе. Все извлекаемо на свет, с кем спит *Президент*, кто сколько украл, за кем следили, пока воровал, сам процесс подсматривания превыше всего. И чтоб применить, нужен коррупционный погляд, всеобщий дизайн подглядывания, все станет понятным, когда коррупция будет выявлена, вагина рассмотрена в мельчайших прожилках и складках до отсутствия невидимого.

Все станет коррупцией, и коррупция перестанет быть.

Рассеется, размножится, приблизится призраком к каждому зраку и станет самим смотрением.

Еще не понимали, что происходит. Какое-то сверхпереживание того, чего не было, но что вроде бы должно наступить, охватывало всех. Оно только обозначалось мон-

струозно и непристойно. Но *Президент* показывал свое лицо словно бы в его наготe, не скрывал, чтоб все в ответ открывались, а они в ответ все больше скрывались. Хотел соблазнить всех открытостью, а почти все чувствовали, что это символическая завеса, игра завес, сокрытие, в которое каждый будто бы мог проникнуть.

И он чувствовал их желания. Он со всеми будто бы объединялся в общем желании, но скрывал себя простыми словами о личной жизни, отгораживал себя от всех.

Он уже не мог без того, чтобы не быть *Президентом*.

Нужна была новая картография власти... порнография обаяния, на немецких картах рано взрослеющий *Партизан* видел выставленные груди и раскинутые ляжки, обещали пуховую влажную жизнь без голода. Но с раздавленными гениталиями *Партизан* жил ненавистью ко всем, кто лишил телесного края-рая, в котором никогда ему не бывать. Почти в каждом сне стекали кроваво-белесо раздробленные сапогом яйца с дубового пенька. И только в пробуждении, поток иссякал.

Бесконечная порнография мести. Вещи, машины, половые акты и рассказы о половых актах, виртуальное кладбище, устроенное интеллектуалами и интеллектуалками Петербурга, сообщения о миллиардах и триллионах, о тоннах золота и центнерах зерновых, все видимое и вычисляемое прозрачное почти ничего не добавляло в жизнь. Обнажаемое не добавляло силы, а лишь скрадывало ее, нечего было утверждать. Бочка страны давала течь то в одном, то в другом расщепе, обручи ржавели от постоянной сырости.

И вместо вещей пользовались символами. Вот почему бессмертна коррупция, это знак окончания времени. Ничего не станет понятным, пока слова не смешаются с предметами, а предметы не воплотятся в слова. Вроде бы и плоти нет у слов, летают без тел, без крыльев, но каждое именно плоть. Только через другие слова слово способно ожить.

Аристотель писал, что вместо вещей мы пользуемся словами как их символами.

А Платон как о звуках? — звуки сами не способны означить ни бытие, ни небытие до тех пор, пока глаголы не смешаются с именами: ведь только из их соединения и возникают высказывания.

35. ПОЛЛЮЦИИ И ГАЛЛЮЦИНАЦИИ

— Ты глухой? — не спросил я. — Ты глухой!

— ...

Президент все слышит и видит.

Но моих слов не услышал, я их ему не сказал. И не скажет никто.

Нет связи между словом и высказыванием, в которое оно помещено, — остались на маргиналиях советы Розанова, размышления Гоббса, ориентировки Макиавелли. Знак вопроса — провал операции, невостребованный стоический смысл-лектон бестелесный... бродяжка без конуры, без ворот, без хозяина, но со словесным ошейником. И первослова власти перестали быть на своих местах, нет больше связи между словами и вещами. Аура любовная пропадает, сеть забрасываю, а она в дырках.

Сеть-надежда.

Интенсивность, проникновенность, рывок сети из глубины. А там ни рыбки, ни раковины с перламутром-песчинкой. Но рывок из удержания — твердый знак, метка между рывком и несвободой, знак энергии бестелесной — утверждающий лектон стойков, на него вся надежда. И что-то уже готовится для высказывания, готово ветвиться в словах, попадает в сеть, хоть нет у него ни тела, ни вида.

Президент перестал мне отвечать.

Слова стали будто бы вовсе без сочетания, становились простыми знаками, а вслед все становилось недостаточным. Изолированные употребления становились проститутками и проститутами.

Любит, правит, говорит.

Кто любит?

Кто правит?

Отвечать за все *Президенту*. Самодовольство и недовольство сплошное, надо любым способом выбраться из-под его давящей туши. Но *Президент* теперь сам уподоблен был *Домовому*, все рвались из-под давящей тяжести — для него самого *Домовой* теперь лишь фигура речи. Ни мохнатости, ни дыхания, ни страха больше нет. И все вокруг превращались в фигуры речи, будто больше не было личных имен.

И я среди всех теперь без лица, без имени, без кремлевской зарплаты — бывший *Советник*.

А *Президент* будто бы не понимал главного: люди не будут терпеть. Шло недовольство из неудовлетворяемой *нутри*. И надо было иметь в виду эту нутряную натуру недовольную, из какой-то еще более глубокой нутри хотящую правды, почти божественной. Но ее не будет на земле до *Пришествия*, а там огонь, крики и слезы. Самая непонятная, самая страшная *Книга*, говорил Розанов. И надо было здесь на земле каждый день думать о войне, чтоб ее не было.

И хотя никто не нападал на страну, хлеба хватало, черноземные земли распаханы, засеяны и обихожены, в человеческих душевных полях все дичало и зарастало.

Страшное неравенство.

Одно и то же было вызываемо разными раздражителями. Ассоциации, сплошное маранье, пачканье. И если бы стараться определить логику, можно сказать, что все стремились к какому-то наименьшему усилию, но такова природа физиологии мозга. И тогда сходились бессвязные утверждения шизофреника и выкрики платных протестантов. Будто все ориентировались на случай, на случку толпы.

Какая-то сплошная невыговариваемая анаграмма неудовлетворенности.

Но если выброс семени происходит по причине длительного воздержания, это не считалось греховным: семя само по себе, писал Василий Великий, чисто. А если выброс происходил от блудных помыслов, то в таком случае, предупреждал Василий Великий, семя осквернялось. Ни вроде бы навсегда устоявшиеся правила, ни покачнувшийся стыд, ни опыт дней не удерживали больше людей в одном стремлении. И *Президент* понимал, что только его собственная каждодневная встреча с тем, во что верил, упорство в верности встрече могли удержать его самого.

Он вступал в жесточайшее соперничество с неведомым существом.

И тогда его стремление никогда не поддаваться удержанию было не только желанием освобождения от фантомного монстра, но стало постоянным напоминанием о стремлении. Нереальные вещи и силы оказывались более реальными, чем то, что окружало в каждом дне. И тут насилие, навязываемое и преодолеваемое, становилось кровью всего огромного существа человеческой телесности: нужно было день в день совершать насилие над насилием, которое бунтовало в крови всего человеческого организма.

Но чему уподобиться и кому подражать?

Он понимал, что подражание необходимо, но всегда ущербно: ведь подражать природе, или телу, или уже существующему замыслу — это всегда вторичное движение вслед, игра с недостижимым, борьба с известным концом, где всегда поражение. Поэтому *Президенту* казалась грустной судьба персонажа подражания: поскольку все, кому он верил, оказывались рано или поздно обманутыми или обманщиками, он начинал их не то чтобы презирать или ненавидеть, а словно бы выводил за штат. На место этих

достойных в свое время персонажей для поклонения начинал полагать себя. И только Розанов, о котором толковал *Советник* под псевдонимом *Лис*, оказывался посреди всех хоть в чем-то прав — заговорил о непредсказуемости мира, даже о странностях веры и неверия и еще того, что казалось совсем убогим.

Каждый человек достоин только жалости.

Но это не прибавляло немощи, о которой Розанов говорил, а прибавляло силы утверждения именно потому, что показывало место, где утверждение могло состояться. В рассеивающемся существовании нужно было признать и так жить в теряющем ориентиры и законности, словно бы вырвавшимся из самого себя и хватающем себя за хвост времени.

Хвостомодернизм.

Мир, который теперь существовал, словно бы стремился тупо насиловать все, что с ним не совпадало. Единственным объектом желания становилось насилие даже не в форме прямого действия, а как смутная неотвязная тяга к самоутверждению. И странное дело: козлом отпущения становился самый могущественный среди всех. Но ведь козел отпущения — это сакральная жертва.

Президент.

Он становился существом, на котором была ответственность за всеобщее недовольство, жертвой, которой можно было недовольство искупить. И это могло быть подобием всеобщего облегчения. *Президент* понимал, что узнанная им из сочинений Гоббса война всех против всех теперь развоплощается в идею войны против одного — против него самого. Но и это, понимал, стало новой стяженностью того человеческого образования, которое он так хотел сплотить. Будто бы начинали судить не только его поступки, а его душу.

И с этим не мог смириться, будто безликое насилие было развоплощенной формой удержания и давления — теперь тысячами подошв шлепали самозванные подобию *Домового*. Тренированное тело *Президента* не хотело поддаваться удержанию, а теми, кого он называл гражданами, он призван был управлять. И тогда выплеск, не осуждаемый даже самим Василием Великим, стал навязчивым переживанием: соответствовать можно только тому, кому нельзя подражать и кто сам никому не подражал. Тут не могло быть ни мести, ни соперничества, а только признание: иногда *Президенту* ясно становилось, что ему не с кем о самом дорогом поговорить.

Его взгляд должен быть одновременно любовным и безразличным.

Он хотел видеть мир так, как он есть в этой тяжести давления и удержания, его глаз словно бы вовсе не закрывался веками к темноте и свету. И поверх всех человеческих обнажений, что каждое утро в донесениях ложились ему на стол, видел искаженную прекрасную наготу — видел взглядом зависшего над встречей зоркого желтоглазого кобчика, взглядом куста и цветка, видел в зеркале тихой воды, даже кристаллом каждой песчинки видел, что, подсохнув, отделялась от наготы, возвращалась в свой песчаный феминный гарем. Там все соединялось со всем, так надо понимать людей в их природной жизни. Все было отношением не к некоему внешнему идолу-идеалу, а ко всему, что есть в переживаниях. И надо было различать утверждающие голоса, чтоб направлять потоки.

А направлять можно только потому, что будут подчиняться, если есть повелительный голос.

И все другие смотрели на *Президента* как на самих себя с той лишь разницей, что допускали его могущество на рынке стоимостей, только он мог допустить свое собственное неповторимое, что для всех прочих было недоступной роскошью. Теперь не помогали все прежние советчики — *Президент* оказывался словно бы в совершенно голом месте.

Но у *Нагой*, что лежала на горячем песке берега, была совсем другая сторона жизни, и это тоже была она. Из одного родника наготы словно бы вытекли две речки — одна тихая Анна-органистка, в воде отражался стоящий на островке храм, она говорила, что тело всегда храм, а другая Анна-альтистка неутолимо встречалась с малознакомыми или даже вовсе не знакомыми мужчинами, ничего особенного этим встречам не придавая. Они не должны были никогда кончаться: с ужасом, она говорила, думает о том времени, когда никто не захочет ее хотеть. Почти не запоминая встреченных, вела красную книжицу, где был записан год и инструмент любовника. Она была существом в женском образе, членом стаи охотников на *Единорога*. Будто бы охотилась сама на себя. Ее тело было ее собственным храмом, там звучали только те мелодии, которые она хотела услышать и исполняла сама. Она сказала, что слушала лекции модных психоаналитиков, и совершенно согласна, что никаких сексуальных отношений как чего-то определенного и незыблемого не существует. Она даже сказала мне, что поняла свою сущность, когда возвращалась под утро со своей первой групповухи.

И теперь во время последнего расставания рыдающая на плече у меня молодая женщина даже на вокзале не кажется переживающей расставание с тем, кто рядом. Она рыдала не от расставания со мной, гладил по светлому височку, рыдала по всему, что тут оставалось — музыкальная школа и интернат, где детишки сбивались в одно большое тело на огромном диване, ее романы со многими, это она называла «ходить у гости» иногда по два или даже три раза в день. А ее единственная и последняя, наверно, любовь к соседу по пульту альтисту, когда она уже переехала жить в его квартиру, продолжалась теперь только в желании встреч, где будто бы ничего не менялось и она шептала ему на ухо его детское имя. А сейчас рыдала на моем плече среди спешивших людей, я замечал их взгляды, бросаемые на странную пару, где у мужчины возраст отшельника.

Но все-таки мы были парой, где прекрасная молодая женщина расставалась в слезах.

Уезжала к жениху в Швецию, но сперва к себе в город детства, где соблазвивший ее в тринадцать лет дирижер камерного ансамбля по-прежнему махал палочкой, подманивая нимфеток, она и с ним встречалась, но уже не так, как в первый раз, когда он посадил ее на колени.

Когда Анна-альтистка рассказывала, я поначалу даже не очень верил. И с ней словно бы попадал в те переживания, которые испытал когда-то на горячем песке берега рядом с *Нагой*, хоть знал, что я лишь семидесятый персонаж из ее красной книжечки, куда она заносила имена мужчин и их музыкальные инструменты.

Когда студенткой после аборта она ехала в консерваторию получать диплом, рыдала среди случайных людей, потом шла навстречу протягивающему руку ректору, хотела, чтоб на нее сверху рухнула старинная люстра. Она фотографии показывала своих любовников, правда, вместо слова любовник говорила другое жесткое слово. На одной фотографии рядом с ней лежал, повернувшись спиной, толстый лысый самец. Да неважно кто, в кафе познакомились, он заплатил за виски. Я его утром выставила. И будто бы в ее телесные встречи вплелась музыка, или, наоборот, музыка была непрерывным соитием.

Может, они даже не могли друг без друга существовать. Анна-альтистка объясняет это своей неутолимой природой и тем, что секса всегда хотят все. И еще тем, что первый любовник-дирижер насильник сломал ей жизнь.

И теперь она его ненавидит.

А ведь Розанов почти боготворил таких женщин, неутоляемых, со всегда возбужденной грудью, с текущим среди всего бела дня возбужденным лоном. Правда, Анна не подходила под главное, она не хотела рожать.

Про любовь не говорить, детей не просить, замуж не звать!

Но вот сейчас рыдает, не может быть с тем, с кем хочет. *Пей, моя девочка, пей, моя милая, это плохое вино! Оба мы нищие, оба унылые, счастья нам не дано!* — сосед-альтист пел эту песню, чтоб они сливались в одном переживании, будто бы не он ее оставил год назад, когда перед этим позвал замуж.

Ежак под голым задом... на серые колючки сейчас посадят.

А голова в страхе находит свое продолжение в сердце и гениталиях. Сердце и яички, до этого и Розанов не додумался — одинаковой формы.

36. АНАБАСИС И ВЛАСТЬ

Президент при всем его прагматизме, о чем говорил *Пресс-секретарь*, не всегда отдавая отчет в том, что *прагма* означает не пользу, а действие, все-таки оставался романтиком. Он, как художник с произведением, был в единстве с осуществляемой властью.

Он вдруг спросил о Ксенофонте: что о нем думал Розанов?

Что думал Розанов о Ксенофонте? — я не знал. Но на экзамене нельзя молчать, это говорит не только о незнании, но о том, что человек в смятении не может по ходу включаться в непредсказуемый поединок. И чтоб не молчать, я сказал *Президенту* о трактате Ксенофонта «Охота», там описаны повадки гончих собак. Я даже успел подумать, что *Президенту* понравится тема движений по следу.

— Что такое анабасис? — Наверное, прочитал слово и никогда не слышал, как его произносят вслух.

— Анабасис... — поправил я ударение.

Открывая сохраненные файлы, воспроизвел общеизвестное, стараясь понять, что именно заинтересовало *Президента* из времен древней истории.

Ксенофонт? — вдруг Ленин не дал забыть про вопрос: железная дисциплина пролетарской партии как пример для всех, кто строил новую власть. Анабасис-подъем немислим без дисциплины, только так люди, потерявшие ориентиры, могут выжить. Греки-наемники, когда был убит нанявший их для войны мятежный персидский царевич Кир, оказались в чужой стране без мгновенно исчезнувшего смысла существования. Сбитые с толку и потерявшие ориентиры воины могли кинуться для спасения только к самим себе. Дорога, которая совсем недавно казалась ясной, пропала. Дисциплина еще осталась, но сбивалась чувством потерянности. Служба закончилась... *Президент* поднял глаза: как служба когда-нибудь может кончиться?

Нужно найти и утвердить — протоптанному ландшафту придать свойства тверди, нужно идти к себе самим, не зная, ведет ли дорога к обетованному обитанию. Блуждающее изобретение пути, которого никогда раньше не было, — возвращение к себе, которого не было до новой дороги.

Тут знак обретения не только родины — новое умение изобретать путь. Анабасис означает одновременно отправление и возвращение — отправление нельзя не заметить и не признать, а возвращение знаменует восстановление телесности и душевности во всей состоявшейся прежде и теперь теряемой полноте.

Президент верил, что это возможно.

Восхождение к истокам.

Но если ему сейчас нужны слова и смыслы из опрокинутого в настоящее прежнего, то я все уже знал из слов *Партизана*. Лишенный любовности... вытекал вместе с кровцой и лимфой из раздавленных на пеньке гениталий, выстраивал жизнь так, как никто другой. И прошлое не забывал — берег схран, думал, что придут за воздая-

нием, тогда его жизнь приобретет почти совсем ускользнувший смысл. И будто бы все станет другим, вернется к себе новой тропой, будут все омыты водицей из родника, утихнет стон со стороны шляха, по которой увозили раскулаченных в сторону Калача. И у *Президента* настроен слух на то, чтобы расслышать смутное и еще почти совсем беспутное: куда идти? Все известные ему планы политики и власти оказались неубедительными, надо было идти неведомым путем, словно бы возвращаясь, изобретая слова и жесты.

Анабасис.

И знал, что надо держать дисциплину: если есть тот, кто подает команду, всегда будут те, кто ее исполнит. Ведь прежний совсем недавний уклад хотя бы на словах хотел братства, а нынешняя жизнь рухнула в неудержимый себялюбивый гон. Только насилие, вроде бы совсем неуместное и недопустимое, могло удерживать жизнь в некотором равновесии. Блуждание целой страны с ее гражданами и диктат власти становились уже не соперниками, а почти что сводными сестрой и братом.

А двое приезжих уже вывели *Партизана* на ступеньки дома престарелых, когда-то тут была земская школа. Эти двое знали, что схрон где-то рядом с родником, но не перекопать же весь склон оврага.

Привезли к роднику, старик наклонился, чтоб зачерпнуть воды. Но боль в сердце не давала разогнуться, он пил с ладони ледяную воду и еще раз верил, что боль уйдет. Но вдруг качнулся вперед и упал прямо в середину сразу возмущившейся воды. Двое вытащили его, он обвис и не поднимал свесившейся на грудь головы, с которой на жесткие руки текла вода. Один поднял крышку с зеленого улья-лежака и толкнул улей ногой. Сразу взвились пчелы. Кинули тело старика сверху на улей, еще раз с двух сторон ударили в стенки улья. Один достал фляжку и плеснул самогоном.

Закрывая головы руками, кинулись прочь.

— Пусть сдохнет, как ворва!

— Медальку с него содрал!

А те двое потом вернулись, чтоб забрать ветхий фанерный чемодан *Партизана*. Тут их увидел мой брат.

— Хлопцы, а где дед?

— Какой дед?

— Да я же вас с ним бачил!

— А чего ж не пособачил?

И пока доказывали дежурной медсестричке, что они кровная родня деда *Партизана* и хотят забрать его добро, а она требовала документы, мой брат, у которого отцалесника повесили бандеровцы, стальной шваикой шаманул дважды в левое заднее колесо, а потом в горловину бака всыпал полпачки соли — пошел прочь спокойно, сжимал в кармане заточенное острие.

Так эти двое и остались возле здания бывшей земской четырехклассной школы, пока не приехала вызванная братом полиция. И выяснилось, что искали схрон, где, может, даже золото для проведения операции «БДЖОЛА», которую сразу после войны планировали начать. Всех тогда раскрыли, малолетний убогий остался единственным, кто знал, где схрон. А ему велено было старшими ни зимой, ни летом не снимать незаслуженной партизанской медали.

Итальянцы стояли тут на Дону, потом пленных погнали в сторону станции, по дороге они падали и замерзали. Иногда в недовольстве на медленный ход солдат-конвоир стрелял последнему в затылок, пуля из винтовки пробивала две или три склоненные головы. Хотел купить итальянский турист у *Партизана* фляжку фашистского офицера. Переводчица перевела, что на ней выгравировано по-итальянски: «Если для нашей

победы надо будет принести в жертву пятьсот тысяч, мы это сделаем. Бенито Муссолини». Итальянец давал большие деньги, но Партизан взъярился: «Я бедный человек, Родину... не продаю». Переводчица покраснела от непередаваемых яростных слов. Перевела, что артефакт очень дорог для того, кто его нашел.

В критке-схроне были старые военные деньги, монеты желтого цвета, ящик гранат, два цинка патронов, порошок в стеклянных бутылках белого цвета, наверно, отрава. Те, что оставили, надеялись, конечно, вернуться, как только американцы кинут бомбу и начнут войну-чуму. Этим схроном интересовался Полковник, который сказал мне, чтоб я занялся философией силы, ждал тех, кто придет.

Теперь схрон раскрыт, уже дважды побывал Референт, который меня возил к месту схрона. Находки выложены на брезент, сфотографированы и упакованы в ящик. И даже падение самолета в то утро, когда погибли пчелы, уже как-то было связано с найденными вещами, будто неслучившаяся война-чума все-таки попала в мирного крылатого трудягу. Президенту доложили, он даже не был удивлен: группа бандеровских последователей совсем недавно была раскрыта в одной из квартир на Литейном проспекте.

А мне пора в свой улей, где нечему и некому подражать.

Пытаться стать одним из стволов потемневшего сада тоже нельзя. Но будто бы в растительной наготе я наконец стал почти невидим и неуязвим. Меня не найдут те, кто направлял. Даже счет дней и ночей не допускал повторения, посчитал я цыганским счетом: *одноко, двоко, троко, ченче, панче, жопто, лопто, козырь, мушка, дзя!* Научил Партизан, теперь, наверно, счет никому не известен и нигде не применен, кроме как в моем зарастающем саду.

И тут, *одноко*, вслед странным числам я должен повиниться перед Партизаном, что не храню родники. Повиниться, *двоко*, перед Анной парижской, что выдал ее присвоенные мной тайны, она учит детишек в Париже игре на фортепьяно и тайнам сольфеджио, ее любят, особенно детки русских. Повиниться, *троко*, перед Анной-альтисткой, ведь она рискованно и бесстрашно соединила музыку и любовь. Ее тело было совсем другим храмом — жаждущей кумирней, она предана своим желаниям, и все ее встречи одно почти бесконечное стремление к совершенствам если и не к любви, то близости. И только теперь благодаря Анне-альтистке я стал понимать, о чем свидетельствовала, проходя по Конногвардейскому бульвару женщина с обнаженным животом, на котором улыбалась рожица — омфалос заявлял о себе, толчки из материнского лона требовали каждого уступить дорогу. И Анна-альтистка была открытым природным существом, показывала, что она, может, несправедно, но неуклонно любит. Она была розовым телесным воплощением той самой наготы, воплощением без всякой тайны — была словно бы совсем одинокой в своем существовании.

Перед Президентом мне не в чем извиняться — цыганский счет не для Кремля.

Президент — это существо и герой власти. Это убежище, куда скрываются персонажи, чтоб жить, хотя бы только там, где теряется всякая определенность. Контингентность — может быть так, может и не быть.

Президент подает вдохновенный пример.

Сплошное кочевье.

Возникли и действовали совсем другие силы: террор пришел на место порядка, террор не привязан ни к какому месту, кастрировал власть, всех и каждого. Действовала некая безумная греза, в пользу которой весь мир должен уступить свое место. И если совсем недавно казалось, что есть направляющие силы, то теперь даже нахлынувшая эпидемия искусственно созданного, несомненно, вируса сама казалась природным видом всепроникающего террора. И можно было с этим как-то бороться, но

отсутствовали образы борьбы и героя, а вместе с ними в неведении и кастрации преобладали фигуры власти.

Президенту некому подражать.

И единственное, что еще можно было найти, это осознание конечности собственного существования, пребывание в вечном удержании, из которого нужно вырваться. Жизнь при этой мысли можно было подстраивать только под того, кому нельзя уподобиться. И это давало чувство странной и даже привлекательной свободы. И давало оправдание, что не получилось не потому, что не было службы-служения, а потому, что сделать это человеку не по силам. Но теперь и *террорист* представлял как фигура воплощенного в жизнь сна разума, существа, неведомого Платону, и Гоббсу, и всем остальным.

Кому подражать, раньше *Президент* знал.

Но наступало другое время, в котором будто бы вовсе исчезали ориентиры и идеалы.

Сопротивлялись не только выходящие на площадь, их тоже нужно было слушать, но давило молчаливое большинство. Будто повсеместно проникающий домовый-хтоник налегал на всех. И две Анны были не только разными существами одной женской природы, но воплощением разных сторон жизни. В одной прелесть обаяния и чистоты, а в другой природная чувственность, словно бы вовсе лишенная стеснения и не желающая себя сдерживать и скрывать.

37. ЛЕС И САД, ИЛИ СТРАНСТВУЮЩЕЕ БРАТСТВО (ВМЕСТО ЭПИЛОГА)

У насельников местного садоводства таких машин не бывает.

Я понял: вот так забирают.

Один был *Интеллигент*, а второй настоящий *Амбал*, что в переводе с тюркских языков означает огромного грузчика. Загрузить меня проще простого.

— Здравствуйте, вы написали роман?

— Какой роман?

— Там... о *Президенте*!

— Роман не о *Президенте*. И даже не о человеке власти. Мало ли кто на кого похож? Героев нет, героическое существует. Меня интересует правительственность. Человеческое во власти, любовность. Видна нагота... в ней все связано!

— Что связано?

— Исаак Лурия написал в каббалистическом романе «Шаги Авраама» про преодоление путей. И в этом перепрыгивании все со всем заодно. Мужское и женское, ночной *Домовой* и полдневная нагая *Дева*, любовь и власть! Чтоб сшить лучшее из того, что можно сейчас представить!

— Написано же, что там, где появляется власть, пропадает любовь. — *Амбал* при своей суровой мужской профессии ни во что не ставил человека, который мог написать о том, чего нет.

— Не может совсем пропасть. И нужен свидетель.

— Свидетель чего?

— Уже допрос?

— Да ты тут, гляжу, герой на пяти сотках? — *Амбал* железной лапой вдруг взял меня под локоть.

— Свидетель говорит то, чего другие не видят или боятся сказать.

— Короче, собирайтесь!

— Зачем? Роман не опубликован!

- Интересует продолжение. Собирайтесь... в Москву выезжаем!
- Рукопись брать?
- А как же! А откуда, кстати, там про ковид? Про пандемию? — *Амбал* тяжело обозначил слово. — Все-таки?
- Иммануил Кант дал ориентировку.
- Вроде его не было в романе! — *Интеллигент* помнил текст.
- Был три раза на очной ставке! Все сословия Восточной Пруссии присягнули на верность российской короне в январе 1758 года. Присягнул и философ Иммануил Кант. Потом город опять стал прусским, но историки не нашли свидетельств того, что Кант отказался от российского подданства.
- Хорошая доцентская память! Узнали меня?
- Вы почти не изменились.
- Это был сильно постаревший человек, который когда-то в университете спрашивал меня о предателях и коллабах. Сидел тогда в тени, сейчас лицо было прикрыто немодной кожаной шляпой.
- И что сообщил? — *Амбал* хотел узнать все сразу.
- Законы природы станут понятными только через законы ума. Взглянуть на буйство человеческое, сразу аналог в природе!
- Вы, коллега, имеете в виду телеологию Канта? — *Интеллигент* словно бы сочувствовал мне.
- Давай ясней! — *Амбал* сжал мой локоть тренированной лапой.
- Сказал же: ориентировка! — С ним по-амбальски. — Дело не в том, что вслед смерти Бога наступает смерть человека. Предстает субъект... по-вашему, субчик, как блуждание и полагает блуждание несомненно для себя ценным. У него больше ничего нет. Прославился своей незаботой о безопасности. Сбывается как утрата себя, вырывается из удержаний всех прежних — вот это и есть величие его приключения. Вслед сексуальной революции СПИД, а вслед толерантности терроризм. Развязанность во все проникает... ковид уж давно в сознании. Хайп — это вирус. Борьба против образов, хоть божественных, хоть человеческих. Тут смертность подсчитывают, строят ангары для пораженных, изобретают вакцину, обывателей запирают в домах. Все будто становится прозрачным, персонажи людские на своих местах, каждый в удержании списка, его считают живым, больным или мертвым, вносят в реестр, чтоб к вечеру сообщить. Природа лишь откликнулась на вызов.
- Так, по-твоему, вирус создан искусственно?
- Слово становится вирусом! Так можно взломать будущее. Главное, создать *хайп* и в это поверить... гибридные войны! Подцепить словесного паразита! И должна быть своя собственная вера поверх всех прочих верований! Да и Кант считал, что вечный мир невозможен.
- А при чем тут самолет упавший и мертвые пчелы?
- Ускорение конца света. Пчелы погибли... предупреждение о пандемии. А ты что, читал?
- Начало и конец, середину пролистал!
- Мы стояли среди деревьев.
- Возможно, самое тревожное, что можем узнать через текущую эпидемию, когда природа атакует вирусами, она в каком-то смысле возвращает нам наш собственный месседж: то, что вы сделали со мной, я сейчас делаю с вами. И только рискующий собой *Свидетель* может представить полную ориентировку. Вирусы могут поражать растения, которые мы потребляем в пищу, например, картофель, пшеницу и оливки. Последствия болезни флоры будут не менее трагичны для человечества, чем эпидемия.

— *И все тело его было исполнено очей спереди и сзади, внутри и снаружи?* — *Интеллигент* шляпу еще глубже натянул на глаза. — Гордыня автора? Розановский синдром?

— Ничего не делай за поцелуй, поклон и любезность. Потому что будет мошеннический! Да ведь Русь без языка! С умом, с характером, с судьбою — но без языка. Рев, гроза, страх! А мир сверкает вообще весь! — Строчки из «Апокалипсиса» Розанова плеснулись в неровный шаг. Участок на даче не выровнен, не люблю картезианские ландшафты.

— Послушайте, что там за тайные силы в романе? Кто кого куда направлял?

— Имен нет. Одни фигуры!

— Есть же две Анны!

— Еще *Нагая!* Из нее две Анны, они в ней изначально. Две Анны, два образа. Одна в любовном мире, другая в люботе.

— И что сейчас? — *Амбал* молод и защищал свое.

— Или разум должен признать, что сходятся умное и безумное, или стать безумным.

— Надел френчик шизофренчик, и пошел гулять младенчик? Читал я про это! Ты заучился, дядя. *Домовой* в Кремле!

— *Домовой*, друг мой, образ того самого, непредсказуемого, что наваливается и давит. Ковид, понятно?

— Я тебе не друг!

Амбал вдруг обхватил меня сзади.

— Бросить? В канаву! — Поднял над краем мостка.

— Вместе с твоими яйцами!

Его мошонка была зажата в моей горсти. Сэнсэй Ванг и *Партизан* одобрили жест.

— Прекрати, капитан! — велел *Интеллигент*.

Амбал выпустил, я тупо ударился пятками о твердую кочку.

— Слушайте! — *Амбал* уже не выдерживал. — Между нами так... по-пацански. Ведь совершенная рухлядь! Кант, какая-то телеология! — Он даже кулак поднял перед собой. — Надо следить за тем, что происходит. Надо ко всему быть готовым! А то у вас может быть так, может быть этак! И нашим и вашим? Кант и России служил, и Германии?

— Не нравится Кант? Как раз человек порядка! Гулять выходил в одно и то же время, по его выходу часы проверяли. Вино любил, общество милых женщин.

— Да хватит кантоваться... прошло давно. Сейчас только сила и власть. Еще есть наука!

Я впервые взглянул ему в глаза после этих слов.

— Вы говорите о контингентности?

— Да ни о чем... таком. Служба, служба и служба! Следить за тем, что происходит! Надо ко всему быть готовым. Такой должна быть власть! Меня так учили! Что там в романе? В чем фишка?

— Да вы же читали только начало и конец!

— Середину тоже просмотрел. Значит, ковид вывели и запустили? Бактериологическая война?

— Может, просто утечка! Может, эксперимент! Может, и то и другое! Но и это уже не так важно.

— А что тогда важно? Третья волна на подходе, а вслед, может, четвертая и пятая!

— Да важно то, что нет больше объяснений. Все люди несут травму в себе.

— Да это мне ясно! Где ученый ум? Что там еще накурлыкал Розанов?

Я не успел ответить.

И сразу спросил *Интеллигент*.

— А кто такой свидетель? Трансцендентальный агент, вселенский шпион?

— Даже в квантовой физике есть запутанность. А свидетель словно бы из укромного потаенного места. Розанов... за занавесочкой! Чужую наготу видит, сам полуголый. В повязке на чреслах из слов! Ангелы, демоны, дэвы, ракшасы и свойский *Домовой*, ментальные персонажи в тонких мирах. *Домовой* может быть более реальным, чем те, что сейчас вышли на площади. Почему все недовольны? Какая-то протожизнь проявляется себя во всем! Аномалия!

- Раз невозможно истинное свидетельство, почему подзаголовок такой в романе?
- Свидетельство как машина исчисления сред. Чтоб шить лучший из возможных миров. Микширование. Роман... действенная ориентировка!
- Ковид сперва в головах, потом в природе?
- Нет одной на все времена ориентировки! Главное, вырваться из удержания!
- А *Президент*?
- Умелый ремесленник!

Интеллигент на службе давно. Наверно, сейчас после этих слов меня по-человечески пожалел.

Понял бы, если бы я рассказал про *Нагую* на берегу, про Анну парижскую и про Анну-альтистку, сбежавшую от вина и неутолимой любви к жениху в северное королевство, жених старше ее на двадцать семь лет. В красной книжечке указаны имена и инструменты любовников, а ведь ни с одним из них она не пережила оргазма. Мгновение сводящего бедра взлета испытывала только сама с собой. В школьном спортивном зале, когда поднялась по канату к самому крюку у потолка, в первый раз, стала спрашивать подруг, а у них этого не было. А теперь вместо каната было то, что она и похожие на нее называли милые *штучки-дрычки*. Некоторые были с аккумуляторами, которые надо подзаряжать. И любовники почти механизировались — в красной книжице жили в списке без лиц, иногда только с упоминанием инструмента. Это странное подобие партитуры, где в начале альтовый знак и нет нигде знака генеральной паузы. Ей просто сообщали о том, что происходит, почти не вступая с ней в разговор. Так продолжалось долго, пока она не стала говорить сама. И отрезанность от слов и признаний, ведь хотела в детстве, чтоб были любовь и семья, оказалась более страшным увечьем, чем насилие. Но любвеобильная Анна, как она себя называла, была продолжением той *Нагой*, что в первый раз показалась на берегу и светила белой плотью из солнечного полдня. Только теперь начала ловитву на саму себя, стала *Девой-охотницей*, что набрасывала сеть на *Единорога*. И хоть говорила, что ненавидит того, кто изнасиловал музыкальную девочку, гнала на новые встречи не месть, а что-то другое

- И как играли?
- Облажались... несмыаемый успех!
- А где инструмент?
- На работе лежит, учит.

Зато после концерта, где дирижировал знаменитый Лейф, говорила, что совершенно счастлива, даже детям своим расскажет, что играла с Лейфом. Тем самым деткам, которых она никогда не захочет рожать. Она все ждала, что кто-то придет и спасет, но боялась настоящей любви, чтоб потом, когда она кончится, не страдать. И у нее, как когда-то у того, кого полуголого держали над колючками ежа и покачивали вверх-вниз, тело тоже отделялось от души и хотело жить своей влажной жизнью, иногда охватывало даже посреди концерта симфонического оркестра.

Но если Анна-альтистка сейчас бесстрашно совсем заголилась на тропях строчек, то непонятно, кто и как узнал о неопубликованном романе.

Кто хотел, чтоб апокалиптические видения о Розанове сделали *Президента* в удержании слабым? Вышло, знаю теперь, совсем наоборот. Он и это удержание превозмог.

И не потому, что погас свет рационализма, светивший несколько столетий, о чем писал Бердяев, назвавший Розанова гениальной русской бабой, а потому, что о таком умопостигаемом уже и речь не идет.

Нуминозное переживание одновременно ужаса удержания и восторга свободы.

На мысль и существование опускалась странная, будто бы даже желанная для многих ночь. И если есть варварство плоти, заглывающее одетую в свет *наготу*, то есть, наверное, варварство духа, непросветленное, насилующее прежние представления о порядке и существовании, приходит диковато обновить ослабевшую жизнь. Разливалось какое-то психобытие, почти безликакая магма переживаний. Еще раз вспомнился не любимый Розановым Ницше, написал, что злые люди не поют песен: а как же русские?

Сперва словесная, потом природная пандемия поражала всех.

И там, где такое, всегда нужно насилие.

Накатывало жестокое и неотвратимое, надо поддерживать дыхание для долгого поединка на фоне апокалиптических ориентировок. Но Розанов, стоя сейчас рядом, написал бы о зимних зайцах и обглоданных стволах молодых яблонек. Не знают ни страданий любовных, ни страха перед охотниками, хотя в злую минуту каждый может восстать на корень с зазубренным топором. Пчелы и шмели до самых последних дней не перестанут приникать к цветкам по весне, чтоб превратить нектар в мед до новых цветений.

Накатила странная зараза-немошь и уже смертно восставала против самой себя.

Все старались избавиться на свой страх и риск, бросались в кучи, заражая и увлекая других. Страдание заразно, вокруг страдали, словно *Домовой* налег на все тела сразу и ледяным выдохом каждому после полуночи обжигал веки. Нация не понимала, что за болезнь и как спастись.

Победить могла только кажущаяся почти невозможной партия жизни, главная ценность состояла в самой жизни.

Надо пройти сквозь немощь и ночь.

А сейчас в странной компании, где рядом со мной *Амбал* и *Интеллигент*, мы въезжали в город, но Санкт-Петербург не впускал. На перекрестках всех улиц, что вели к Невскому проспекту и Дворцовой площади, стояли огромные грузовики «Спецтранса», рядом патрульные машины мигали синими фонарями. Легкими движениями полицейские направляли нашу машину в объезд, хотя там начинался новый круг и ему навстречу новый заслон.

Наконец колонны машин стали сдвигаться в сторону центра. Но перед Дворцовым мостом снова замедление, и на середине пролета все остановилось. Я опустил стекло задней двери.

— Душно? — Грузный *Амбал* судил по себе.

— Нет.

Я пальцами одной руки сжал кончики пальцев другой, особенно надавливая места уголков ногтей. Выгонял из пальцев дурную энергию, вспомнил совет сэнсэя Ванга, выбрасывал дурную наполненность в темную воду.

— Что такое? — *Амбал* все замечал.

— Удаляю дурную энергию. Показать как?

— У меня нет дурной энергии.

И в очередной раз, когда смахивал в черные воды дурную энергию дня, я выбросил флешку с текстом романа. Там был финал, которого никто не читал.

Машина стояла в бесконечной пробке на середине моста.

Вдруг телефон зазвонил.

— Москва, слушаю.

— Что такое? — *Амбал*, как-то обеспокоясь, спросил, но старший молчал в ответ и странно посмотрел на меня.

— Вас понял!

Мы выехали на Стрелку, машину *Интеллигент* велел остановить возле Ростральной колонны, как раз напротив могучей скульптурной мифологемы свободного потока.

— Выходите! — сказал жестко.

— А что... уже?

Они оба вдруг из машины с двух сторон за мной вслед. Подумал, что меня тут сейчас тихо убьют, никого вокруг. Стрела колокольни Петропавловской крепости колола темное небо. Смерть на таком месте — новость завлекательная для завтрашней хроники. Даже, отвернувшись, по-армейски сплюнул — вдруг, опередив боль, слюна уже стала красной.

— Ладно... давай! — *Амбал* так хлопнул по плечу, что я покачнулся. И в ответ с разворота маваша-эмпи-учи — локтем в его жесткое плечо.

— Удачи! — *Интеллигент* вдруг снял свою немодную шляпу — он был совсем седой — и обнял меня.

А я чувствовал себя так, будто вообще переставал существовать. Нигде не осталось ни знаков признания, ни взглядов навстречу или вслед, ни окликования по имени. Я даже почувствовал во всем, что теперь отстраненно вокруг, знаки опасной неотвратимости неведомой мне судьбы в этот вечер. Не стало больше ни обязанностей, ни удержания, будто бы даже лишился сейчас всех прежних слов и воспоминаний. Так, подумал, те, кто сегодня вечером выходил на улицы и кричал о наивном представлении свободы, тоже чувствовали себя отринутыми и ненужными — хотели освободиться от магического захвата власти, а не могли уйти от собственного, не поддающегося разумению страха и одиночества. И этот страх, и эта ярость, включается Гоббс, вызовет вслед необратимое расстройство органов кровообращения. Каждый словно мог стать шаманом для самого себя и для того, кто кричал, бросался только вперед или падал рядом.

Магическая ситуация зависела от общего мнения, где всегда есть избыток переживаний. Но *Интеллигент* на службе давно, привык ко всему, меня сейчас обнял — мало ли как вдруг лягут карты.

Наверно, меня по-человечески пожалел.

И стареющей мужской нежностью понял бы, если бы я рассказал про *Нагую* на берегу, про Анну парижскую и про Анну-альтистку, сбежавшую от вина и неутолимого желания к жениху в северное королевство — любота-музыка неутолима до самой смерти.

Снежная пыль из неутихающей пушкинской метели вилась вокруг желтых огней всех разлук. Я почувствовал, что словно бы выбрался из заточения — казематы крепости на той стороне Малой Невы подогнали старое казенное слово. И подумал, что если флешку темная вода уже донесла до Финского залива, то концовка, где слова о будущем, окажется навсегда утраченной даже для меня.

Автор-гость в неприютности текста.

Ведь анабасис-блуждание неотделим от насилия как некоего чистого движения власти. Но те, кто выступали против такого движения, иногда в ответ, а чаще всего сами по себе тоже осуществляли насилие словами о немощи, что соседствовали со словами о ненавистной власти. Управители этого движения поджигали свиней, чтоб воем приводили в неуверенность всякую власть. Занималась тлеющим огнем щетина во время терки живущих отрицанием тех, кто недоволен, их становилось все больше и больше. Гордились своей незаботой о безопасности, пребывали только в одном чувстве высвобождения, и это было самым завлекательным в приключении.

Я среди этой непредсказуемо вьющейся ризомы, где все связано и непредсказуемо ветвится?

И говорить о терроре совсем не то, что его мыслить.

А сейчас мыслят мной, запустили Ламетри-машину с двигателем-либидо по Фрейдю. Не надо оружия, не нужны листки пластида, не нужны самолеты. Грузовики не нужны с террористами за баранкой. Даже не нужны идиоты, которых по всему миру тысячи — вызвать на встречу, внушить неудержимое стремление из удержания к вымыслам и маскам, когда каждый конструирует вождедующего агента-охотника из самого себя. Особо честолюбивые будут стремиться даже без денег — на площади выйдет неведомая *Левиафану* чрезвычайная власть — страсть к неведению. И подчинятся будто бы наконец открывшейся в них силе — все чего-то неявленного хотят.

Где честной партнер по бесконечному поединку *Домовой*?

Темным гераклитовским словам, над которыми мы размышляли, когда учились в университете, наверное, всего привычнее в темноте.

Она сейчас как раз вокруг меня.

Деньги после московской службы еще остались, на такси я успел к последнему рейсу автобуса в сторону Гатчины, совсем недавно ставшей столицей Ленинградской области. Никого рядом, шофер сутулился над зелеными стрелками приборов. Установленный под сиденьем электрический нагреватель гнал теплый воздух. У большого окна просторно, совсем не так, как совсем недавно в черной машине. Даже посочувствовал тем двоим охотникам, кто стремился во властную Москву по казенной надобности.

Мы сейчас ехали по Киевскому шоссе, новая дорога легко вилась мимо деревень, где когда-то не один раз проследовал живой Пушкин, потом его провезли к месту упокоения по зимней дороге. В этих местах одно лето Розанов, написавший проникновенные строчки о свободе и бесстрашии Пушкина, снимал дачку, пил на террасе чай с малиновым вареньем, которое потом проникновенно перетекало на строчки.

Тут пилил деревья и готовил дрова.

Лето, как и нынешнее, было дождливым, плохо горели сырые поленья.

Но своему теплу он был, наверное, очень рад.